Андре Моруа

Фиалки по средам

(сборник)

André Maurois

POUR PIANO SEUL

© Héritiers André Maurois, Anne-Mary Charrier Marseille, France, 2006

© Перевод. С. Тарханова, наследники, 2015

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2009

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

Биография

Лампы, освещавшие большую столовую, были затенены – в этом году в Лондоне была мода обедать в полумраке. Эрве Марсена, отыскав свое место за столом, увидел, что его посадили рядом с очень старой дамой в жемчугах – леди Хемптон. Эрве ничего не имел против такого соседства. Дамы преклонных лет обычно бывают снисходительны и нередко рассказывают забавные истории. А леди Хемптон, судя по насмешливому выражению ее глаз, была наделена к тому же живым чувством юмора.

– На каком языке вы предпочитаете говорить, господин Марсена? На французском или на английском?

– Если не возражаете, леди Хемптон, я предпочитаю французский.

– Однако пишете вы на английские темы. Я читала вашу «Жизнь Джозефа Чемберлена». Она меня позабавила, я ведь знала всех этих людей. А над чем вы работаете сейчас?

Молодой француз вздохнул:

– Моя мечта – написать книгу о Байроне, но о нем уже столько написано… Правда, найдены новые материалы – письма Мэри Шелли, бумаги графини Гвиччьоли. Но все это уже опубликовано. А я хотел бы обнаружить какие-нибудь неизвестные документы, но ничего не могу найти.

Старуха улыбнулась:

– А что, если я открою вам одно совершенно неизвестное похождение Байрона…

Эрве Марсена весь невольно подобрался, словно охотник, внезапно заметивший в кустах оленя или кабана, словно биржевик, которому вдруг открыли, какие акции подскочат на бирже.

– Совершенно неизвестное похождение Байрона? Да разве это мыслимо, леди Хемптон, когда написаны груды исследований?

– Пожалуй, я преувеличила, назвав его совершенно неизвестным, потому что имя героини уже упоминалось биографами. Я имею в виду леди Спенсер-Свифт.

Эрве разочарованно скривил губы:

– Ах вот кого… Да, да, я слышал… Но ведь об этой истории никто ничего не знает наверняка.

– Дорогой господин Марсена, разве о подобных вещах можно вообще что-нибудь знать наверняка?

– Конечно, леди Хемптон. В большинстве случаев мы располагаем письмами, документами. Правда, порой письма лгут, а свидетельства не вызывают доверия, но на то и существует критическое чутье исследователя…

Обернувшись к своему собеседнику, леди Хемптон поглядела на него в старинный лорнет.

– А что вы скажете, если я предоставлю вам дневник леди Спенсер-Свифт (ее звали Пандора), который она вела во время своей связи с Байроном? И письма, которые она от него получала?

Молодой француз вспыхнул от удовольствия.

– Я скажу, леди Хемптон, как говорят индусы, что вы – отец мой и мать моя. Благодаря вам я напишу книгу… Но у вас действительно есть эти документы?..

Простите мой вопрос… Все это настолько невероятно…

– Нет, – ответила она. – У меня этих документов нет, но я знаю, где они находятся. Они принадлежат нынешней леди Спенсер-Свифт, Виктории, моей подруге по пансиону. Виктория до сих пор никому не показывала этих документов.

– Почему же она вдруг покажет их мне?

– Потому что я попрошу ее об этом… Вы еще плохо знаете нашу страну, господин Марсена. Здесь на каждом шагу вас подстерегают тайны и неожиданности. В подвалах и на чердаках наших загородных вилл хранятся истинные сокровища. Но владельцы ничуть ими не интересуются. Вот когда кто-нибудь разоряется и дом продают с молотка, архивы выходят на свет Божий. Если бы не предприимчивый и упорный американец, обнаруживший пресловутые бумаги Босвелла, они так и остались бы навсегда в ящике от крокетных шаров, где их спрятали.

– Вы полагаете, что предприимчивый и упорный француз может добиться такого же успеха, хотя он и не располагает теми тысячами долларов, которыми американец оплатил бумаги Босвелла?

– Вик Спенсер-Свифт долларами не прельстишь. Она моя ровесница, ей за восемьдесят, и ей вполне хватает своих доходов. Вик покажет вам бумаги из расположения к вам, если вы сумеете его заслужить, а кроме того, в надежде, что вы нарисуете лестный портрет прабабки ее мужа.

– Лорда Спенсер-Свифта нет в живых?

– Не лорда, а баронета… Сэр Александр Спенсер-Свифт был последним в роду носителем этого титула. Виктория все еще живет в том самом доме, где гостил Байрон… Это прелестная усадьба елизаветинских времен в графстве Глостер. Хотите попытать счастья и поехать туда?

– С восторгом… если я получу приглашение.

– Это я беру на себя. Я сегодня же напишу Вик. Она наверняка вас пригласит… Не пугайтесь, если письмо будет составлено в резких выражениях. Виктория считает, что привилегия нашего преклонного возраста – говорить все, что вздумается, напрямик. С какой стати церемониться? Чего ради?

Несколько дней спустя Эрве Марсена ехал на своей маленькой машине через живописные деревушки графства Глостер. Минувшее лето было, по обыкновению, дождливым, и это пошло на пользу деревьям и цветам. В окнах даже самых скромных коттеджей виднелись роскошные букеты. Дома, сложенные из местного золотистого камня, были точно такими, как во времена Шекспира. Эрве, весьма чувствительный к поэтическим красотам английского пейзажа, пришел в восторг от парка Виндхерст, как называлось поместье леди Спенсер-Свифт. Он проехал по извилистым дорожкам мимо поросших густой травой, аккуратно подстриженных лужаек, исполинские дубы обступали их со всех сторон. Среди зарослей папоротника и хвоща поблескивал пруд. Наконец Эрве увидел замок и с бьющимся сердцем затормозил у входа, увитого диким виноградом. Он позвонил. В ответ ни звука. Прождав минут пять, Эрве обнаружил, что дверь не заперта, и толкнул ее. В темном холле, где на креслах лежали грудами шарфы и пальто, – ни души. Однако из соседней комнаты слышался монотонный голос, бубнивший, казалось, заученный текст. Француз подошел к двери и увидел продолговатую залу, увешанную большими портретами. Группа туристов сгрудилась вокруг величественного butler’а во фраке, темно-сером жилете и полосатых панталонах.

– Вот это, – говорил butler, указывая на портрет, – сэр Уильям Спенсер-Свифт (1775–1835). Он сражался при Ватерлоо и был личным другом Веллингтона. Портрет кисти сэра Томаса Лоренса, так же как и портрет его супруги, леди Спенсер-Свифт.

Среди слушателей пробежал шепот:

– Той самой…

Дворецкий с заговорщическим видом едва приметно кивнул головой, не теряя при этом достоинства и важности.

– Да, – добавил он, понизив голос до шепота, – той самой, что была возлюбленной Байрона. Той, которой он посвятил знаменитый сонет «К Пандоре».

Двое туристов начали декламировать первую строфу. Дворецкий величественно кивнул головой.

– Совершенно верно, – подтвердил он. – А это – сэр Роберт Спенсер-Свифт, сын предыдущего (1808–1872). Портрет писан сэром Джоном Миллесом.

И, склонившись к своей пастве, он доверительно сообщил:

– Сэр Роберт появился на свет через четыре года после того, как Байрон гостил в Виндхерсте.

Молодая женщина спросила:

– А почему Байрон приехал сюда?

– Он был другом сэра Уильяма.

– Ах вот что! – сказала она.

Эрве Марсена остановился позади группы, чтобы получше рассмотреть оба портрета. У мужа, сэра Уильяма, было широкое, красное от вина, обветренное лицо. Он производил впечатление человека вспыльчивого и высокомерного. В воздушной красоте его жены сочетались величавость и целомудрие. Однако, приглядевшись повнимательнее, в чистом взгляде леди можно было уловить и затаенную чувственность, и не лишенное жестокости кокетство. Туристы уже устремились к выходу, а молодой человек все еще задумчиво разглядывал портреты. Дворецкий деликатно шепнул, наклонившись к нему:

– Простите, сэр, у вас есть билет? Вы пришли позже других… Все уже заплатили. Поэтому, если позволите…

– Я не турист. Леди Спенсер любезно пригласила меня провести здесь уик-энд и обещала показать интересующие меня документы…

– Извините, сэр… Стало быть, вы и есть молодой француз, рекомендованный леди Хемптон? Минутку, сэр, я только провожу этих людей и тотчас уведомлю ее милость… Комната вас ждет, сэр. Ваши вещи в машине?

– У меня только один чемодан.

В дни, когда леди Спенсер-Свифт открывала двери своего замка иностранным туристам – эти посещения освобождали ее от уплаты налогов, – сама она уединялась в гостиной, расположенной во втором этаже. Туда и провели молодого француза. Старая леди держалась горделиво, но без чопорности. Ее надменную осанку смягчала насмешливая прямота.

– Не знаю, как вас благодарить, – начал Марсена. – Принять незнакомого человека…

– Nonsense, – объявила леди. – Какой же вы незнакомец? Вы явились по рекомендации моей лучшей подруги. Я читала ваши книги. Я давно жду человека, который мог бы тактично поведать миру эту историю. Думаю, что вы как раз подходящее лицо для этого.

– Надеюсь, миледи. Но я не верю своему счастью: возможно ли, что ни один из блестящих английских биографов Байрона не опубликовал ваших документов?

– Ничего удивительного в этом нет, – объявила леди. – Мой покойный муж не разрешал показывать дневник своей прабабки ни одной живой душе. На этот счет у него были старомоднейшие предрассудки.

– А разве эти бумаги содержат нечто… ужасное?

– Понятия не имею, – сказала она. – Я их не читала. От этого бисерного почерка можно ослепнуть, да к тому же все мы прекрасно знаем, что пишут в дневниках двадцатилетние женщины, когда они влюблены.

– Но может случиться, миледи, что я обнаружу в этих бумагах доказательство… м-м… связи Байрона с прабабкой вашего мужа. Могу ли я считать, что и в этом случае я имею право ничего не скрывать?

Леди бросила на француза удивленный взгляд, в котором мелькнуло легкое презрение.

– Разумеется. Иначе для чего бы я стала вас приглашать?

– Вы – само великодушие, леди Спенсер-Свифт… А ведь многие семьи вопреки всякой очевидности защищают добродетель своих предков до тридцатого колена.

– Nonsense, – повторила старуха. – Сэр Уильям был чурбан, он не понимал своей молодой жены и вдобавок обманывал ее со всеми окрестными девками. Она встретила лорда Байрона, который был не только великий поэт, но и мужчина с ангельской внешностью и сатанинским умом. Леди выбрала лучшего. Кому придет в голову ее порицать?

Эрве почувствовал, что не стоит дальше обсуждать эту тему. Однако, не удержавшись, добавил:

– Простите, леди Спенсер-Свифт, но раз вы не читали этих дневников, откуда вы знаете, что Байрон гостил в Виндхерсте не только в качестве друга хозяина дома?

– Так гласит семейное предание, – решительно ответила она. – Мой муж знал об этом от своего отца, а тот от своего. Впрочем, вы сами сможете во всем удостовериться, потому что, повторяю, бумаги в вашем распоряжении. Сейчас я вам их покажу, а вы мне скажете, где вам удобнее работать.

Она вызвала великолепного дворецкого.

– Миллер, откройте красную комнату в подземелье, принесите туда свечи и дайте мне ключи от сейфа. Я провожу туда господина Марсена.

Обстановка, в которой очутился Марсена, не могла не подействовать на воображение. В подземелье, расположенном под нижним этажом здания и обитом красным штофом, в отличие от остальных помещений не было электричества. Пламя свечей отбрасывало вокруг дрожащие тени. К одной из стен был придвинут громадный сейф, отделанный под средневековый сундук. Напротив стоял широкий диван. Старая леди величественно спустилась в подземелье, опираясь на руку француза, взяла ключи и быстро повернула их в трех скважинах замка с секретным шифром, после чего Миллер широко распахнул тяжелые створки сейфа.

Перед глазами Марсена блеснуло столовое серебро, мелькнули какие-то футляры из кожи, но хозяйка протянула руку прямо к толстому альбому в белом сафьяновом переплете.

– Вот дневник Пандоры, – сказала она. – А вот письма, которые она собственноручно перевязала этой розовой лентой.

Старуха обвела взглядом подземелье.

– Погодите-ка… Где бы нам вас пристроить… Вот за этим большим дубовым столом вам будет удобно? Да? Ну что ж, отлично… Миллер, поставьте два подсвечника по правую и левую руку от господина Марсена… Теперь заприте сейф и пойдем. А молодой человек пусть себе работает…

– Могу ли я остаться здесь за полночь, миледи? Времени у меня немного, а мне хотелось бы прочитать все.

– Дорогой господин Марсена, – сказала леди. – Спешка ни к чему хорошему не приводит, но делайте как знаете. Вам принесут сюда обед, и больше вам никто мешать не будет. Утром подадут завтрак в вашу комнату, потом вы опять можете работать. Мы встретимся с вами в час за ленчем… Подходит вам такое расписание?

– Я в восторге, леди Спенсер-Свифт! Не могу выразить…

– И не надо. Спокойной ночи.

Эрве остался один. Он вынул из портфеля авторучку, бумагу, сел за стол и с замирающим сердцем открыл сафьяновый альбом. Старуха была права – почерк и в самом деле был мелкий и неразборчивый. Должно быть, Пандора сознательно стремилась к тому, чтобы ее записи было трудно прочитать. Альбом мог попасть в руки мужа. Разумнее было принять меры предосторожности. Но Марсена был искушен в расшифровке самых замысловатых почерков. Он без труда разобрал каракули Пандоры. С первых же строк он не мог удержаться от улыбки. В манере изложения чувствовалась совсем молодая женщина, почти ребенок. Пандора часто подчеркивала слова – признак горячности или волнения. Дневник был начат в 1811 году, через несколько месяцев после свадьбы.

«*25 октября 1811*. Нынче я устала, *больна* и не могу сидеть в седле. Уильям уехал на охоту. Не знаю, чем заняться. Начну вести дневник. Этот альбом мне подарил мой *нежно, нежно* любимый батюшка. Как я сожалею, что покинула его! Боюсь, что мой муж *никогда* меня не поймет. У него не злое сердце, но он *не догадывается*, что женщине необходима нежность. Я не знаю даже, думает ли он когда-нибудь обо мне. Он чаще говорит о политике, лошадях и фермах, нежели о своей жене. Со времени нашей свадьбы он, кажется, ни разу не произнес слово «*любовь*».

Ах нет, произнес. На днях он сказал Бриджит: «До чего же трогательно *любит меня моя жена*». Я и глазом не моргнула».

Эрве пробежал одну за другой страницы, полные жалоб и насмешек. Пандора была беременна и без всякой радости ждала появления ребенка. Он должен был еще теснее связать ее с человеком, который не сумел внушить ей ни малейшей привязанности. Из наивных заметок молодой женщины постепенно складывался весьма непривлекательный портрет сэра Уильяма. Малейшее проявление его эгоизма, тщеславия, вульгарности безжалостно заносилось на бумагу свидетелем, затаившим на него горькую обиду. Меж тем сквозь строки дневника все яснее проступал другой образ – соседа, лорда Петерсона, столь же любезного, сколь отвратительным был сэр Уильям.

«*26 декабря 1811*. Вчера, на Рождество, лорд Петерсон принес мне в подарок *обворожительного* щенка. Я была, как всегда, одна, но приняла лорда Петерсона – ведь он гораздо старше меня. Он говорил со мной о литературе и об искусстве. Если бы я могла записать все его *блистательные* мысли! Какое наслаждение слушать его! У него *изумительная* память. Он читал мне наизусть стихи Вальтера Скотта и лорда Байрона. Это доставило мне громадное удовольствие. Я знаю, что, будь я женой такого человека, как лорд Петерсон, я сделала бы *огромные* успехи.

Но он стар, и к тому же я навеки связана с другим. Увы! Несчастная Пандора!»

Из дальнейших записей явствовало, что на Пандору произвела большое впечатление поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Она даже сказала об этом мужу и услышала в ответ:

– Байрон? Да я с ним коротко знаком. Мы встречались в те времена, когда он, как и я, странствовал по свету… Мы провели вместе немало веселых ночей в Италии… По возвращении он приглашал меня к себе в Ньюстедское аббатство, где он содержит целую труппу нимф, о которых я мог бы порассказать немало забавных анекдотов, – да только они не предназначены для целомудренного слуха моей супруги… Ха-ха-ха!

Вслед за этим на глазах читателя белого альбома Пандора, которая решила заставить мужа пригласить Байрона к ним в Виндхерст, плела целую сеть хитроумных уловок. Вначале муж противился.

– Ну что он здесь станет делать? – твердил он. – Ему будет скучно. Из-за хромой ноги он не сможет сопровождать меня в далеких прогулках. К тому же он не охотник.

Жена настаивала:

– Я постараюсь его развлечь.

Сэр Уильям приходил в негодование:

– Вы?! Развлекать этого бабника, этого донжуана… Не хватает еще, чтобы я позволил жене оставаться наедине с человеком вроде Байрона. Да у меня нет ни малейшей охоты разрешать этому бездельнику браконьерствовать в моих владениях.

Однако чем громче становилась слава Байрона в Лондоне, тем охотнее деревенский эсквайр похвалялся своей дружбой с поэтом. Он начал рассказывать о ней соседям. Рождение дочери подсказало леди Спенсер-Свифт великолепную мысль – почему бы не попросить лорда Байрона быть крестным отцом малютки? Разве не лестно, если восприемником маленькой леди будет прославленный поэт? Сэр Уильям сдался: «Хорошо, я ему напишу, но он никогда не согласится. У него и без того довольно хлопот с женщинами и стихами». Но Байрон согласился. Он любил контрасты и диссонансы. Мысль о том, что его, демонического поэта, хотят сделать крестным отцом младенца, да еще вдобавок девочки, позабавила и соблазнила его.

Эрве Марсена был настолько увлечен чтением, что не чувствовал ни голода, ни жажды, ни усталости. Но великолепный Миллер явился к нему в сопровождении лакея, несшего обед.

– Леди Спенсер-Свифт свидетельствует вам свое почтение и справляется, не угодно ли вам чего-нибудь, сэр?

– Ничего. Передайте леди, что документы настолько интересны, что я буду работать всю ночь.

Во взгляде дворецкого мелькнуло сдержанное неодобрение.

– Всю ночь, сэр? В самом деле? В таком случае я пришлю вам запасные свечи.

Эрве почти не прикоснулся к истинно английскому обеду и вновь схватился за альбом. Приезд Байрона был описан в лихорадочном возбуждении – почерк Пандоры стал еще более неразборчивым.

«Сегодня поутру в 11 часов приехал лорд Б. Как он красив и *бледен*. Должно быть, он несчастлив. Он стыдится своей хромоты. Как видно, поэтому он не ходит, а *бегает*, чтобы ее скрыть. И напрасно! Хромота делает его еще *интереснее*. Странно… Уильям предостерегал меня, говорил, будто лорд Б. *несносно* развязен с женщинами. Но со мной он не сказал и двух слов. Меж тем он время от времени *украдкой* поглядывает на меня, а один раз я перехватила его взгляд в зеркале. Но в разговоре он обращается только к Уильяму и лорду Петерсону, а ко мне – *никогда. Почему?*»

Всю ночь напролет следил Эрве Марсена, как Пандора мало-помалу подпадала под обаяние поэта. Судя по всему, юная и неопытная простушка не поняла причины столь небайронического поведения гостя. Байрон приехал в Виндхерст с твердым намерением вести себя добродетельно, во-первых, потому, что был безнадежно влюблен в другую женщину, во-вторых, потому, что считал неблагородным соблазнить жену своего хозяина, к тому же Пандора показалась ему такой наивной, юной и хрупкой, что он не хотел причинять ей страданий. В глубине души он был сентиментален и маскировал цинизмом природную чувствительность.

Вследствие всех этих причин Байрон не заговаривал с Пандорой о любви. Но мало-помалу интрига начала завязываться. Сэр Уильям напомнил Байрону о Ньюстедском аббатстве и его обитательницах-нимфах, созданиях более чем доступных. Одна из них когда-то пришлась по вкусу деревенскому эсквайру, и он выразил желание вновь ее увидеть.

– Скажите-ка, Байрон, отчего бы вам не пригласить меня в Ньюстед? Само собой разумеется, без жены.

Байрон укорил его:

– Стыдитесь! Ведь вы женились совсем недавно! А что, если жена вздумает отплатить вам той же монетой?

Сэр Уильям расхохотался:

– Моя жена? Ха-ха-ха! Да ведь она святая и к тому же обожает меня!

Пандора, которая все время была настороже, услышала издалека этот диалог и не преминула занести его в свой дневник, снабдив негодующими комментариями: «“Она меня обожает”!!! Глупец! Неужели я обречена всю свою жизнь прожить подле этого чурбана! А почему бы и впрямь не отплатить ему *той же монетой*? После этого разговора меня охватила такая ярость, что, вздумай лорд Байрон нынче вечером в парке обнять и *поцеловать* меня, я, пожалуй, не стала бы противиться».

Было уже за полночь. Эрве торопливо покрывал заметками страницу за страницей. В полутемном подземелье при догоравших свечах, которые отбрасывали все более тусклый свет, ему чудилось, будто его окружают живые тени. Он слышал раскатистое «ха-ха-ха» краснолицего хозяина замка, следил по выражению тонкого лица леди Пандоры, как нарастают ее нежные чувства, а в темном углу ему мерещился Байрон, с саркастической усмешкой наблюдающий эту столь неподходящую пару.

Французу пришлось сменить догоревшие свечи, после чего он вновь взялся за чтение. Теперь он следил за попытками сближения, которые предприняла Пандора, стремясь вывести Байрона из его сдержанной задумчивости; она проявила при этом смелость и изобретательность, неожиданные в такой молодой женщине. Задетая его равнодушием, она подзадоривала его. Под предлогом игры на бильярде она осталась наедине с поэтом.

«Нынче вечером я сказала ему: «Лорд Байрон, когда женщина *любит* мужчину, который не оказывает ей никакого внимания, как ей следует поступить?» Он ответил: «*А вот как!*» – с необыкновенной силой заключил меня в свои объятия и…» Тут одно слово было тщательно вымарано, но Эрве без большого труда удалось его разобрать: «*поцеловал*».

Эрве Марсена облегченно вздохнул. Он едва верил своему счастью. «Может быть, я сплю? – думал он. – Ведь только во сне с такой полнотой сбываются порой наши самые заветные желания». Он встал и ощупал рукой громадный сейф, диван, стены, чтобы удостовериться в реальности обстановки. Никаких сомнений – все предметы вокруг него существовали на самом деле и дневник был подлинным. Он вновь погрузился в чтение.

«Я испугалась и сказала ему: «Лорд Б., я вас *люблю*, но я недавно родила ребенка. Он нерасторжимо связал меня с его отцом. Я могу быть для вас только другом. Но вы мне необходимы. Помогите же мне». Он выказал *удивительную* доброту и сочувствие. С этой минуты, когда он остается наедине со мной, всю его горечь как рукой снимает. Мне кажется, что я *врачую его душу*».

Молодой француз не удержался от улыбки. Он хорошо изучил Байрона и никак не мог представить его в роли терпеливого платонического воздыхателя хрупкой молодой женщины. Ему так и чудился голос поэта: «Если она воображает, что мне по вкусу часами держать ее за руку, читая ей стихи, – ох, как она ошибается. Мы уже на той стадии, когда пора приблизить развязку».

Потом ему пришло в голову, что в связке писем, врученной ему леди Спенсер-Свифт, может найтись документ, свидетельствующий о подлинном расположении духа Байрона. Он торопливо развязал ленту. В самом деле, это были письма Байрона. Эрве сразу узнал темпераментный почерк поэта. Но в пачке были еще какие-то другие бумаги, написанные рукой Пандоры. Эрве наскоро пробежал их. Это были черновики писем леди Спенсер-Свифт, сохраненные ею.

Погрузившись в чтение переписки, Эрве с удовольствием убедился, что не ошибся в своих предположениях. Байрону очень быстро наскучили платонические отношения. Он просил Пандору назначить ему свидание ночью, когда все обитатели замка спят. Пандора противилась, но без особенной твердости. Эрве подумал: «Если вот это письмо, черновик которого я сейчас прочел, было отправлено Байрону, он должен был почувствовать, что победа недалека». В самом деле, простодушная молодая женщина приводила только один довод: «Это невозможно, потому что я не представляю себе, где мы могли бы увидеться с вами, не привлекая внимания всех в замке».

Эрве вновь взялся за альбом. Пандора записала, что для того, чтобы обмениваться письмами с Байроном, она делала вид, будто дает ему книги из своей библиотеки. Таким образом она могла в присутствии marito передавать поклоннику книги, в которые были вложены записочки. «И это в двадцать лет!» – подумал Эрве.

«Сегодня Уильям уехал на охоту, и я целый день провела вдвоем с лордом Б., хотя и на глазах прислуги. Он был очарователен. Кто-то рассказал ему о подземелье замка, и он пожелал осмотреть его. Я не решилась спуститься с ним, но попросила гувернантку миссис Д. показать гостю подземелье. Вернувшись, он сказал странным тоном: «В один прекрасный день этому подземелью суждено стать уголком, о котором я всю жизнь буду вспоминать с живейшим восторгом». Что он хотел этим сказать? Я боюсь вникать в смысл его слов и в особенности не могу без страха думать о том, что этот восторг может быть связан с воспоминанием *обо мне*».

Письма и альбом помогли французу восстановить развязку приключения. Однажды ночью Пандора согласилась встретиться с Байроном в подземелье в тот час, когда ее супруг храпел в своей спальне, а челядь ушла к себе на третий этаж. Байрон был настойчив, пылок. Она молила о пощаде.

– Лорд Байрон, – сказала она ему, – я в вашей власти. Вы можете делать со мной все, что пожелаете. Никто нас не видит, никто нас не слышит. У меня самой нет сил вам противиться. Я пыталась бороться, но любовь привела меня сюда вопреки моей собственной воле. От вас одного зависит мое спасение. Если вы злоупотребите своей властью надо мной, я уступлю вам, но потом умру от стыда и горя.

Она заливалась слезами. Байрон, тронутый мольбами молодой женщины, почувствовал прилив жалости.

– Вы просите у меня того, что превышает силы человеческие, – сказал он. – Но я так вас люблю, что готов от вас отказаться.

Они долго еще сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, потом Пандора поднялась в свою спальню. На следующий день Байрон объявил, что издатель Мэрэй вызывает его в Лондон, и покинул Виндхерст. В этот день Пандора сделала в дневнике запись, которая от души позабавила молодого француза.

«О глупец, глупец! – писала она. – Все кончено, все потеряно, и я осуждена вовеки не знать любви. Как он не понял, что я ведь не могла сразу броситься ему на шею. Разве женщина, воспитанная в таких правилах, как я, и вдобавок такая молодая, могла повести себя с цинизмом тех бесстыдных распутниц, с какими он привык иметь дело до сих пор? Я должна была поплакать. А он, искушенный в любви мужчина, должен был успокоить, утешить меня и заставить уступить чувству, которое уже так сильно владело мной. Но он уехал, погубив все наши надежды! Никогда в жизни не прощу ему этого!»

После этого эпизода действующие лица обменялись еще двумя письмами. Письмо Байрона было составлено в осторожных выражениях. Он, несомненно, думал о муже, который мог вскрыть конверт. Черновик письма Пандоры выдавал нежные чувства молодой женщины и ее затаенную ярость. В дальнейших записях дневника еще несколько раз упоминалось имя Байрона, то в связи с его новой поэмой, то в связи с очередным скандалом. Бросались иронические намеки, в которых проглядывала глубокая досада. Но после 1815 года Байрон, как видно, совершенно изгладился из памяти Пандоры.

Сквозь маленькое окошко в подземелье просочился бледный свет. Забрезжило утро. Эрве, точно выйдя из транса, медленно огляделся вокруг и вернулся в XX век. Какое прелестное и забавное приключение пережил он за минувшую ночь! С каким удовольствием он его опишет! Но теперь, окончив работу, он почувствовал усталость после бессонной ночи. Он потянулся, зевнул, задул свечи и поднялся в отведенную ему комнату.

Звон колокольчика возвестил час ленча. В холле поджидал величественный Миллер, который проводил француза в гостиную, где уже находилась леди Спенсер-Свифт.

– Добрый день, господин Марсена, – сказала она своим резким мужским голосом. – Мне сказали, что вы всю ночь не ложились. Надеюсь, что вы по крайней мере хорошо поработали.

– Отлично. Я все прочитал и сделал двадцать страниц выписок. Это бесподобная история. Не могу вам выразить…

Она перебила его:

– Я ведь вам говорила. Эта малютка Пандора, судя по портрету, всегда казалась мне женщиной, созданной для страсти.

– Она действительно была создана для страсти. Но вся прелесть истории в том и состоит, что она никогда не была любовницей Байрона.

Леди Спенсер-Свифт побагровела.

– Что? – переспросила она.

Молодой человек, который захватил с собой свои выписки, рассказал хозяйке всю историю, попытавшись при этом проанализировать характеры обоих действующих лиц.

– Вот каким образом, – закончил он, – лорд Байрон в первый и последний раз в своей жизни уступил бесу нежности, а прабабка вашего мужа вовек не простила ему этой снисходительности.

Леди Спенсер-Свифт слушала не перебивая, но тут она не вытерпела.

– Nonsense! – воскликнула она. – Вы плохо разобрали текст или чего-нибудь не поняли… Пандора не была любовницей лорда Байрона?! Да все на свете знают, что она ею была. В этом графстве нет ни одной семьи, где бы не рассказывали эту историю… Не была любовницей лорда Байрона!.. Очень сожалею, господин Марсена, но если таково ваше последнее слово, я не могу разрешить вам опубликовать эти документы… Как! Вы намерены разгласить во Франции и в здешних краях, что эта великая любовь никогда не существовала! Да ведь Пандора перевернется в гробу, сударь!

– Но почему? Пандора-то знает правду лучше всех, ведь она сама записала в дневнике, что между ней и Байроном не произошло ничего предосудительного!

– Этот дневник, – объявила леди Спенсер-Свифт, – вернется на свое место в сейф и больше никогда оттуда не выйдет. Где вы его оставили?

– На столе в подземелье, леди Спенсер-Свифт. У меня не было ключа, и поэтому я не мог положить его в сейф.

– Сейчас же после ленча мы с вами спустимся вниз и водворим все на прежнее место. Мне не следовало показывать вам семейный архив. Бедняжка Александр был против этого и на сей раз оказался прав… Что до вас, сударь, я вынуждена потребовать от вас полного молчания об этом… так называемом… открытии…

– Само собой разумеется, леди Спенсер-Свифт, я не могу напечатать ни строчки без вашего позволения, к тому же я ни за что на свете не хотел бы вызвать ваше неудовольствие. И однако, признаюсь вам, я не понимаю…

– Вам нет нужды понимать, – ответила она. – Я прошу вас о другом – забудьте.

Он вздохнул:

– Что поделаешь. Забуду… И об этом дневнике, и о своей книге.

– Очень мило и любезно с вашей стороны. Впрочем, я ничего иного и не ждала от француза. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Скажите, господин Марсена, как вам нравится английский климат?

После ленча они спустились в подземелье в сопровождении Миллера. Дворецкий раскрыл тяжелые створки сейфа. Старуха собственноручно уложила среди кожаных футляров и столового серебра белый альбом и пачку пожелтевших писем, перевязанных розовой лентой. Миллер снова запер сейф.

– Вот и все, – весело сказала она. – Теперь уж он останется здесь навеки.

Когда они поднялись наверх, первая группа туристов, прибывшая с автобусом, уже покупала в холле входные билеты и открытки с видами замка. Миллер стоял наготове – чтобы начать сцену с портретами.

– Зайдемте на минуту, – сказала леди Спенсер-Свифт французу.

Она остановилась поодаль от группы туристов, но внимательно прислушивалась к словам Миллера.

– Вот это, – объяснял дворецкий, – сэр Уильям Спенсер-Свифт (1775–1835). Он сражался при Ватерлоо и был личным другом Веллингтона. Портрет кисти сэра Томаса Лоренса, так же как и портрет леди Спенсер-Свифт.

Молоденькая туристка, живо выступившая вперед, чтобы получше разглядеть портрет, прошептала:

– Той самой…

– Да… – сказал Миллер, понизив голос. – Той, которая была любовницей лорда Байрона.

Старая леди Спенсер-Свифт с торжеством взглянула на француза.

– Вот видите! – сказала она.

I. Тереза – Жерому

Эврё, 7 октября 1932 года

Я прочитала твою книгу… Да, ее прочитали все, и я в том числе… Не волнуйся: она мне понравилась… Мне кажется, будь я на твоем месте, меня преследовала бы мысль: «А как Тереза, считает ли книгу справедливой? Страдала ли, читая ее?» Но тебе-то, конечно, такие вопросы в голову не приходят. Ты ведь убежден, что проявил не только беспристрастие, но даже великодушие… Вот в каком тоне ты говоришь о нашем браке:

«Пламенно мечтая о женщине, созданной моим воображением, не только возлюбленной, но и помощнице в работе, я не разглядел в Терезе реальную женщину. Но в первые же дни совместной жизни я обнаружил в ней черты, которые можно было предвидеть заранее и которые, однако, поставили меня в тупик. Я был человек из народа и в то же время натура артистическая. Тереза выросла в богатой буржуазной семье. Ей были свойственны все добродетели и пороки ее класса. У меня была верная, скромная, по-своему неглупая жена. Но, увы! трудно вообразить существо, которое менее годилось бы в подруги человеку, чье призвание – борьба и апостольство духа…»

Ты в этом уверен, Жером? Ты уверен, что приобщил меня к «апостольству духа», когда, уступив твоим мольбам, я согласилась вопреки советам моих родителей выйти за тебя замуж? А ведь сознайся, Жером, я отважилась тогда на смелый поступок. Ты был в те годы безвестным писателем. Твои политические идеи отпугивали и возмущали меня. Я покинула богатый дом, дружную семью, чтобы начать нелегкую совместную жизнь с тобой. Разве я роптала, когда годом позже ты объявил мне, что в Париже не можешь работать, и увез меня в глухую провинцию, в край суровый и мрачный, где в целом доме жила лишь маленькая забитая служанка – единственное существо, которое в ту пору моей жизни казалось мне еще более обездоленным, чем я? Я все терпела, на все соглашалась. Я даже долгое время делала вид, будто счастлива.

Но разве женщина может быть счастлива с тобой, Жером? Иной раз я смеюсь, горько смеюсь, когда газеты твердят о твоей силе, нравственной стойкости. Ты – сильный?.. Право, Жером, я никогда не встречала человека слабодушнее тебя. Ни разу. Нигде. Я пишу это без всякой ненависти. Пора обид миновала, и с тех пор, как мы не видимся, я вновь обрела спокойствие. Но тебе полезно это узнать. Твоя всегдашняя мнительность, неврастеническая боязнь людей, исступленная жажда похвал, наивный страх перед болезнью, смертью – да разве это признак силы, хотя плоды этого смятения – твои романы – и вводят в заблуждение твоих учеников?

Ты – сильный? Да какая же это сила, если ты настолько раним, что заболеваешь от неуспеха книги, и настолько тщеславен, что стоит глупцу обмолвиться о тебе добрым словом, и ты готов усомниться в его глупости? Тебе и в самом деле раза два или три в жизни пришлось бороться за свои идеи. Но ты вступал в борьбу, только тщательно все взвесив, когда был уверен в победе этих идей. В одну из редких минут откровенности ты однажды сделал мне признание, о котором, наверное, тотчас пожалел с присущей тебе осторожностью, признание, которое я не без злорадства храню в памяти.

«Чем старше становится писатель, – сказал ты, – тем радикальнее должны быть его взгляды. Это единственный способ привлечь к себе молодежь».

Бедные юноши! С наивным восторгом упиваясь твоими «Посланиями», они и представить себе не могли, насколько притворен пыл их автора, с каким продуманным макиавеллизмом они написаны.

Да, Жером, в тебе нет ни силы, ни мужественности… Может, на первый взгляд это покажется жестоким, но придется сказать тебе и это. Ты никогда не был настоящим любовником, милый Жером. После того как мы с тобой разошлись, я

узнала физическую любовь. Я вкусила ее покой и блаженство, узнала счастливые ночи, когда женщина, не ведая больше никаких желаний, засыпает в объятиях сильного мужчины. Живя с тобой, я знала лишь грустное подобие любви, жалкую пародию на нее. Я не подозревала о своем несчастье; я была молода, довольно неопытна; когда ты твердил мне, что художник должен беречь свои порывы, я верила тебе. Правда, мне хотелось хотя бы спать рядом с тобой; я нуждалась в тепле твоего тела, в капле нежности, в капле жалости. Но ты избегал моих объятий, моей постели, даже моей комнаты. И при этом ты и не подозревал о моем отчаянии.

Ты жил только ради себя, ради шумихи вокруг твоего имени, ради того тревожного любопытства, какое пробуждал в твоих читательницах герой, который на самом деле – ты-то это прекрасно знал – не имел с тобой ничего общего. Три враждебные строчки в какой-нибудь газете волновали тебя больше, чем страдания женщины, любившей тебя. Тебе случалось уделять мне внимание, но лишь тогда, когда политические деятели или писатели, мнением которых ты дорожил, приходили к нам обедать. Тогда ты хотел, чтобы я блистала. Накануне этих визитов ты подолгу беседовал со мной; ты уже не ссылался на свою священную работу, ты подробно объяснял, что надо и чего не надо говорить, каковы прославленные чудачества такого-то критика и гастрономические вкусы такого-то оратора. В эти дни ты желал, чтобы наш дом казался бедным, ибо это соответствовало твоим доктринам, но чтобы от нашего угощения текли слюнки, ибо великие мира сего тоже люди.

Помнишь ли ты, Жером, то время, когда у тебя появились деньги, большие деньги? Это и радовало тебя, ведь в глубине души ты самый обыкновенный, жадный к земле крестьянин, и вместе с тем немного смущало, потому что твои идеи плохо согласовались с богатством. Как я потешалась тогда над наивными уловками, с помощью которых твоя алчность пыталась успокоить твою совесть! «Я раздаю почти все деньги», – говорил ты. Но я-то видела счета и знала, сколько у тебя остается. Иногда я с притворным простодушием замечала как бы вскользь:

– А ведь ты не на шутку разбогател, Жером!

А ты вздыхал:

– Ненавижу этот строй… Увы, пока он существует, приходится к нему приспосабливаться.

К несчастью, поскольку нападки на государственный строй были в моде, чем больше ты его осуждал, тем богаче становился. Вот ведь жестокая судьба! Бедняга Жером! Впрочем, надо отдать тебе должное: если речь заходила обо мне, ты и слышать не хотел ни о каких компромиссах. Когда я поняла, что ты стал миллионером, меня, как всех женщин, обездоленных в любви, потянуло к роскоши, к мехам, драгоценностям. Но должна признаться, что тут я всегда встречала самое добродетельное сопротивление с твоей стороны.

– Норковая шуба? – говорил ты. – Жемчужное колье? Как тебе это могло взбрести в голову! Разве ты не понимаешь, что скажут мои враги, если моя жена уподобится тем самым буржуазным дамам, сатирическими портретами которых я прославился?

Да, я понимала. Я отдавала себе отчет, что жена Жерома Ванса должна быть вне подозрений. Я сознавала все неприличие моих желаний. Правда, себя ты не лишал любимых игрушек – земель и ценных бумаг. Но ведь банковские счета невидимы, а бриллианты слепят глаза. Ты был прав, Жером, – как всегда.

Но я снова стерпела все. Стерплю и последнюю твою книгу. Я слышу, как вокруг все хором восхваляют смелость твоих взглядов, твою доброту (меж тем ты один из самых злых людей, каких мне приходилось встречать), твое благородство по отношению ко мне. Я молчу. Иногда подтверждаю. «Совершенно верно, – говорю я, – он был ко мне снисходителен, у меня нет никаких оснований жаловаться». Права ли я в своем великодушии? Разумно ли с моей стороны попустительствовать

этой лестной для тебя легенде, которая растет и ширится вокруг твоего имени? Справедливо ли, чтобы молодежь считала своим учителем человека, которого я хорошо знаю и который даже недостоин называться мужчиной? Иногда я задаю себе все эти вопросы. Но я и пальцем не пошевелю, чтобы что-нибудь изменить. Я даже не стану, следуя твоему примеру, писать в свое оправдание мемуары. Зачем? Ты внушил мне отвращение к слову. Прощай, Жером.

II. Жером – Терезе

Париж, 15 октября 1932 года

Как и в былые времена, когда мы жили вместе, тебе захотелось сделать мне больно… Ну что ж, радуйся, тебе это удалось… Ты себя не знаешь, Тереза… Ты выдаешь себя за жертву, а ты – палач… Я тоже не сразу тебя раскусил. Я считал тебя такой, какой ты хотела казаться. Женщиной мягкой, всегда приносящей себя в жертву. Лишь мало-помалу мне открылась твоя ненасытная потребность в раздорах, твоя жестокость, твое вероломство. Натерпевшись в юности унижений от бестактных родителей, ты хочешь взять у жизни реванш. И отыгрываешься на тех, кто, на свою беду, тебя любит. Когда мы с тобой встретились, я верил в себя. Ты решила убить во мне эту веру; ты стала издеваться над моим умом, над моими взглядами, над моей внешностью. Ты сделала меня посмешищем в моих собственных глазах. Даже освободившись от тебя, я и по сей день не могу вспоминать без стыда тайные раны, нанесенные мне твоей откровенностью.

Каким безжалостным взглядом ты рассматривала меня. «До чего же ты мал, – твердила ты, – ну просто коротышка». В самом деле, я был мал ростом, и, как у большинства людей, ведущих сидячий образ жизни, у меня было больше жира, чем мускулов. Разве это преступление? Или хотя бы вина? Но я отлично понимал, что в твоих глазах это, во всяком случае, предмет для насмешки. Любовь нуждается в безоглядном доверии. Вместе с одеждой любящие отбрасывают прочь все страхи, подозрительность, застенчивость. А я, лежа рядом с тобой, все время чувствовал на себе враждебный взгляд женщины, которая, ни на минуту не теряя власти над своими чувствами, холодно и трезво оценивает меня. Да как же мог я быть хорошим любовником, когда я тебя боялся? Как мог я стать с тобой тем, кем должен быть в любви мужчина: предприимчивым, повинующимся инстинкту существом, когда со стороны моей партнерши я встречал только внутреннее сопротивление и преувеличенную стыдливость? Ты винишь меня за то, что я избегал твоего ложа. А ты не подумала о том, что сама согнала меня с него?

«А ведь сознайся, – пишешь ты, – *выходя за тебя, я отважилась на смелый поступок...»* Но разве ты уже и тогда не была убеждена, что меня ждет в скором времени громкая известность? Твой выбор, Тереза, пал на меня потому, что ты увидела во мне нечто живое, настоящее, что было в диковинку для тебя и твоего окружения. А может, еще и потому, что ты почувствовала мою ранимость, а ведь главная, единственная твоя услада – причинять боль другому… Мне теперь очень трудно припомнить, каким я был в пору нашего первого знакомства. Мне кажется, я был действительно человеком незаурядным – я верил в свои взгляды, в свое призвание… Но ты приложила все усилия к тому, чтобы убить во мне этого человека. Когда мне казалось, что я счастлив, ты сокрушала меня своей жалостью. Странное дело. Ты вышла за меня замуж, потому что чувствовала во мне силу. Но именно против этой силы ты и ополчилась. Впрочем, в твоих поступках не следует искать ни логики, ни умысла. Как и многие женщины, ты просто жалкая игрушка своей плоти и нервов. Несчастливая юность изломала тебя, неудачи озлобили. Пока ты жила с родителями, ты на них вымещала снедающую тебя ненависть, а с того дня, как твоим спутником жизни стал я, ты начала преследовать меня.

«Вот уж неожиданные попреки… – скажешь ты. – Он высосал эти обвинения из пальца, чтобы отомстить за мое письмо!..»

И ты с торжеством поспешишь указать на то место в книге, которое ты уже не преминула отметить: *«У меня была верная, скромная, неглупая жена»*. Но не доверяй этим чересчур снисходительным строкам, Тереза. Раз уж ты вынуждаешь меня к крайности, заставляешь ни перед чем не останавливаться, изволь, я покаюсь тебе: эта фраза – ложь. Сознательная ложь. Я хотел разыграть великодушие. Я был не прав. Лицемерие всегда вредит произведениям искусства. Мне следовало без всякой жалости показать, какое ты чудовище и сколько зла ты мне причинила.

«Верная»? Еще до того, как я разошелся с тобой, я уже знал, что ты мне изменяешь. Но зачем было это оглашать? Это только нанесло бы мне ущерб, а тебе стяжало бы лестные лавры ветреницы. *«Скромная»?* У тебя сатанинская гордость, и большинство твоих поступков вызвано жаждой властвовать, ослеплять. *«Неглупая»?* Да, многие теперь находят тебя умной. Ты и в самом деле поумнела. Но знаешь отчего? Это я сделал тебя такой. За двадцать лет ты позаимствовала у меня все, чего тебе недоставало: взгляды, знания, даже словарь. И теперь, после долгих лет разлуки, в тебе все еще жив тот дух, что я вдохнул в тебя, и даже письмо, которым ты надеялась меня сокрушить, всей своей силой обязано мне.

Я тщеславен? Нет, я горд. Я вынужден непрестанно твердить, что верю в свои силы, чтобы стряхнуть с себя злое наваждение – дело твоих рук. Не стану перебирать все строки твоего письма. Я не хочу играть тебе на руку, причиняя себе бесполезные страдания. Однако добавлю еще два слова. «*Я горько смеюсь*, – пишешь ты, – *когда газеты твердят о твоей силе… я никогда не встречала человека слабодушнее тебя…*» Ты отлично знаешь, Тереза, что в данном случае ты смешиваешь две разные вещи, хотя делаешь вид, будто не замечаешь этого. Ты не имеешь на это права. Каким я был в наших личных отношениях – касается только нас двоих. Теперь, как и ты, я считаю, что в этой борьбе я был слишком слаб. Я держал себя так из жалости, но к жалости зачастую примешивается трусость. Однако ты прикидываешься, будто не знаешь, что человек, слабый и беспомощный в повседневной жизни, может создавать могучие творения. А на самом деле очень часто так и бывает – именно слабые люди обладают громадной творческой силой. Поверь мне, Тереза, то, что молодежь видит в моих книгах, в них действительно есть. И по зрелом размышлении я прихожу к мысли, что, хотя ты и причинила мне много страданий, за них-то я и должен теперь, когда боль притупилась, поблагодарить тебя. Именно твоей постоянной ненависти я во многом обязан тем, чем я стал.

По натуре своей ты – прежде всего разрушительница. В эту форму облеклась твоя злоба. Поскольку ты не была счастлива, ты ненавидишь счастье, выпадавшее на долю других. Поскольку тебе несвойственна чувственность, ты презираешь наслаждение. Досада превратила тебя в проницательного и одержимого наблюдателя. Подобно тем лучам, которые сразу обнаруживают в громадном куске железа свищ – угрозу его прочности, ты мгновенно нащупываешь в человеке слабое место. Ты умеешь находить изъян в любом достоинстве. Это редкий дар, Тереза, но это проклятый дар. Потому что ты забываешь, что достоинства все-таки существуют и железные балки выдерживают проверку временем. Я знаю, что мне свойственны все те слабости, которые ты так безжалостно перечислила. У тебя зоркий глаз, Тереза, на редкость проницательный. Но слабости мои вкраплены в такую монолитную, твердую породу, что ни одному человеку не под силу ее сокрушить. Даже тебе это не удалось, и мое творчество, моя душа вырвались невредимыми из-под твоей пагубной власти.

«*Разве женщина*, – пишешь ты, – *может быть счастлива с тобой?!*» Я хочу, чтобы ты знала, что и я после развода с тобой узнал счастливую любовь. Я обрел покой в браке с простой и сердечной женщиной. Мне так и видится твоя усмешка: «Ты – возможно, но она?..» Если бы ты хоть мельком увидела Надин, ты поняла бы, что и она счастлива. Ведь не всем женщинам свойственна потребность убивать, чтобы жить… Кого ты убиваешь теперь?

III. Надин – Терезе

Париж, 2 февраля 1937 года

Вы, наверное, удивитесь, мадам, получив письмо от меня. Молве угодно считать нас врагами. Не знаю, как вы относитесь ко мне. Что до меня, то я не только не питаю к вам ненависти, но, скорее, наоборот, чувствую к вам невольную симпатию. Если прежде, в пору вашего развода, я в течение нескольких месяцев видела в вас соперницу, которую любой ценой следовало вытеснить из сердца моего избранника, то вскоре после моего замужества вы стали для меня как бы невидимой сообщницей. Я уверена, что умершие жены Синей Бороды встречаются в памяти их общего супруга. Жером, сам того не желая, рассказывал мне о вас. А я пыталась представить себе, как вы держались с этим человеком, таким необычным, таким трудным, и мне часто приходило в голову, что ваша жестокость была разумнее моего терпения.

После смерти Жерома мне пришлось разбирать его бумаги. Среди них я нашла много ваших писем. Одно из них произвело на меня особенно сильное впечатление. Я имею в виду письмо, которое вы написали ему пять лет назад, после опубликования его «Дневника». Я не раз говорила ему, что эта страница вас оскорбит. Я просила вычеркнуть ее. Однако этот бесхарактерный человек проявлял редкостную твердость и упрямство, когда речь шла о его творчестве. Ваш ответ был безжалостен. Но вы, наверное, удивитесь, узнав, что я нахожу его не лишенным справедливости.

Не подумайте, что я предаю Жерома после его кончины. Я его любила; я храню ему верность; но я способна судить о нем беспристрастно и не умею лгать. Как писатель он достоин восхищения: он был и талантлив, и честен. О человеке же вы сказали правду. Нет, Жером не был апостолом, во всяком случае, если ученики принимали его за апостола, нас, своих жен, ввести в заблуждение ему не удалось. Он всегда чувствовал потребность окружать свои поступки, свои политические взгляды, вообще всю свою жизнь ореолом святости, но мы-то знаем, что мотивы, побуждавшие его действовать именно так, а не иначе, были довольно ничтожны. Он возводил в добродетель свою ненависть к светской суете, но истинная причина этой ненависти крылась в его болезненной застенчивости. Он всегда держал себя с женщинами как внимательный и почтительный друг, но и в этом сказывался, как вы писали ему, скорее недостаток темперамента, чем душевная мягкость. Он уклонялся от официальных почестей, но и это скорее из гордости и расчета, нежели из скромности. И наконец, ни разу он не принес жертвы, которая не обернулась бы выгодой для него, но при этом он хотел, чтобы мы слепо верили в его ловкую непрактичность.

Уверяю вас, мадам, что Жером сам не понимал своего истинного характера и что этот человек, так сурово и проницательно читавший в душах других людей, сошел в могилу, убежденный в своей жизненной мудрости.

Была ли я с ним счастлива? Да, была, несмотря на множество разочарований, потому что мне никогда не наскучивало наблюдать это вечно меняющееся, фантастически интересное существо. Сама его двойственность, о которой я сейчас говорила, превращала его в живую загадку. Я не уставала слушать его, расспрашивать, изучать. В особенности меня трогала его слабость. В последние годы я относилась к нему скорее как снисходительная мать, нежели как влюбленная женщина. Но не все ли равно, как любишь, когда любишь? Наедине с собой я его проклинала, но стоило ему появиться – и я прощала все. Впрочем, он и не подозревал о моих страданиях. Да и к чему? Я считала, что женщина, которая сорвала бы с него маску и показала ему в зеркале его подлинное лицо, навлекла бы на себя ненависть Жерома, ни в чем его не убедив. Даже вы решились высказать ему правду только тогда, когда поняли, что он для вас потерян безвозвратно.

И однако, какой след оставили вы в его жизни! После того как вы с ним расстались, Жером, живя со мной, год за годом только и делал, что вновь и вновь

описывал историю вашего разрыва. Вы были его единственной героиней, главным персонажем всех его книг. Всюду под различными именами я вновь и вновь узнавала вашу прическу флорентийского пажа, вашу величавую осанку, вашу резкую прямоту, надменное целомудрие и жесткий блеск ваших глаз. Ему никогда не удавалось изобразить мои чувства и мои черты. Он неоднократно принимался за это, желая доставить мне удовольствие. Ах, если бы вы знали, как я страдала каждый раз, видя, как образ, который он лепит с меня, помимо воли скульптора постепенно приобретает черты женщины, похожей на вас! Один из его рассказов назван моим именем – «Надин», но разве не ясно, что его героиня, неприступная и мудрая девственница, – тоже вы? Сколько раз я, бывало, плакала, переписывая главы, в которых вы появляетесь то в роли загадочной невесты, то в роли неверной, обожаемой жены, то в роли злодейки – ненавистной, несправедливой и все-таки желанной.

Да, с тех самых пор, как вы покинули его, Жером жил воспоминаниями, дурными воспоминаниями, которые вы оставили по себе. А ведь я старалась сделать его жизнь спокойной, безмятежной, чтобы он мог целиком посвятить себя творчеству. Теперь я задаюсь вопросом: права ли я была? Быть может, великому таланту нужно страдать? Быть может, однообразие для него пагубнее ревности, ненависти и боли? Ведь и вправду, самые человечные свои книги Жером написал в те годы, когда вы были его женой; а оставшись без вас, он все время мысленно возвращался к последним месяцам вашей совместной жизни. Даже жестокость вашего письма, которое сейчас лежит передо мной, не излечила его. Все последние годы он пытался на него ответить и в мыслях своих, и в книгах. Его последнее, незаконченное произведение, рукопись которого хранится у меня, представляет собой нечто вроде беспощадной исповеди, в которой он, пытаясь себя оправдать, предается самоистязанию. Ах, как я завидую, мадам, той страшной власти тревожить его сердце, какую вам давала ваша неуязвимая холодность!

Зачем я вам все это говорю теперь? Да потому, что мне уже давно хотелось вам это высказать. Потому, что только вы одна можете это понять, а также потому, что моя искренность, я надеюсь, расположит вас ко мне и вы согласитесь оказать мне небольшую услугу. Вам известно, что после смерти Жерома о нем много пишут. На мой взгляд, суждения о его творчестве недостаточно глубоки и не очень справедливы, но в эту область я не намерена вторгаться. Критики имеют право на ошибки: потомство вынесет свой приговор. Я считаю, что книги Жерома относятся к числу тех, которым суждено пережить их автора. Но я не могу сохранять такое же спокойствие, когда биографы искажают облик Жерома и мою жизнь с ним. Подробности семейного быта Жерома, интимные черты его характера были известны только нам с вами, мадам. После долгих колебаний я пришла к выводу, что не вправе унести с собой в могилу свои воспоминания.

Итак, я намерена написать книгу о Жероме. О, я знаю, что лишена таланта. Но в данном случае важна не столько форма, сколько материал. По крайней мере я оставлю свидетельство и надеюсь, что в будущем оно пригодится какому-нибудь талантливому биографу для воссоздания истинного портрета Жерома. Вот уже несколько месяцев я собираю необходимые документы. Однако мне все еще не хватает материалов об одном периоде – вашей помолвке и браке. Быть может, это не принято и слишком смело, но я решила со всей откровенностью и без церемоний обратиться к вам и просить вас о помощи. Пожалуй, я не отважилась бы на это, если бы не питала к вам, как я уже писала, необъяснимую, но искреннюю симпатию. Я вас никогда не видела, но у меня такое чувство, будто я знаю вас лучше, чем кто бы то ни было. Интуиция подсказывает мне, что я поступаю правильно, обращаясь к вам так откровенно, хотя это и граничит с дерзостью. Напишите мне, пожалуйста, где и когда я могу встретиться с вами, чтобы рассказать вам о своих планах. Я полагаю, что вам нужно время, чтобы найти и разобрать старые бумаги, если вы их сохранили, но так или иначе я хотела бы как можно скорее побеседовать с вами. Я хотела бы рассказать вам, как я задумала эту книгу. Тогда вы поймете, что с моей стороны вам нечего опасаться ни осуждения, ни даже пристрастных оценок. Наоборот, обещаю вам употребить весь свой женский такт на то, чтобы воздать вам должное. Я прекрасно знаю, что вы

построили свою жизнь заново, и позабочусь о том, чтобы не процитировать ни одного документа, не сказать ничего такого, что могло бы поставить вас теперь в неловкое положение. Заранее благодарю вас за все, чем вы захотите – в этом я не сомневаюсь – облегчить мою задачу.

Надин Жером-Ванс

P.S. Этим летом я еду в Уриаж, чтобы, если можно так выразиться, описать с натуры те места, где Жером был впервые представлен вам на веранде отеля «Стендаль». Я бы хотела также посетить имение ваших родителей.

P.P.S. У меня не хватает данных о связи Жерома с мадам де Вернье. Известно ли вам что-нибудь о ней? Жером непрестанно говорил о вас, но на вопросы об этом юношеском романе отвечал всегда сдержанно, скупо и уклончиво. Верно ли, что мадам де В. приехала к нему в Модану в 1907 году и сопровождала его в поездке по Италии?

Как звали бабку Жерома по отцу – Ортанс или Мелани?

IV. Тереза – Надин

Эврё, 4 февраля 1937 года

К большому моему сожалению, мадам, я ничем не могу вам помочь. Дело в том, что я сама решила опубликовать «Жизнь Жерома Ванса». Правда, его вдова – вы, вы носите его имя, и поэтому томик ваших воспоминаний будет, без сомнения, хорошо принят публикой. Но нам с вами не пристало лукавить друг с другом: согласитесь, мадам, что вы очень мало знали Жерома. Вы вышли за него в ту пору, когда он уже стал знаменитостью и его общественная деятельность как бы затмила его личную жизнь. Зато я была свидетельницей рождения таланта и возникновения легенды, к тому же вы сами любезно признаете, что лучшие из книг Жерома были написаны при мне или в память обо мне.

Не забудьте также, что ни одна серьезная биография Жерома не может обойтись без документов, которые принадлежат мне. У меня сохранилось две тысячи писем Жерома, писем, полных любви и ненависти, не считая моих ответов, черновики которых я тоже сберегла. Двадцать лет подряд я вырезала все статьи о Жероме и его книгах, собирала письма его друзей и неизвестных почитателей. Я храню все речи Жерома, его лекции и статьи.

Директор Национальной библиотеки, который недавно составил опись этих сокровищ, потому что я намерена преподнести их в дар государству, сказал мне: «Это выдающаяся коллекция». Приведу лишь один пример: вы спрашиваете меня, как звали бордоскую бабку Жерома, а у меня на эту Ортанс-Полин-Мелани Ванс заведено целое досье, как, впрочем, и на всех остальных предков Жерома.

Жером любил говорить о себе как о «человеке из народа». Но это выдумка. В конце XVIII века семейство Ванс владело небольшим поместьем в Перигоре; дед и бабка Жерома по материнской линии прибрали к рукам около сотни гектаров неподалеку от Мериньяка. При Луи-Филиппе дед Жерома был мэром своего городка, а один из братьев деда – иезуитом. Все в округе считали Вансов состоятельными буржуа. Я собираюсь рассказать об этом в своей книге. Не подумайте, что таким образом я хочу подчеркнуть тот снобизм наизнанку, который был одной из слабостей бедняги Жерома. Нет, я намерена быть беспристрастной и даже снисходительной. Но я не хочу ничего приукрашивать. Впрочем, это был, пожалуй, самый простительный недостаток великого человека, которого мы с вами, мадам, любили и… судили.

По отношению к вам я, разумеется, проявлю не меньшее великодушие, чем вы ко мне. Зачем терзать друг друга? Правда, я располагаю письмами, из которых явствует, что, прежде чем стать женой Жерома, вы были его любовницей, но я не собираюсь их цитировать. Я ненавижу скандалы, кого бы они ни затрагивали – меня или других. И потом, в чем бы я ни упрекала Жерома, я по-прежнему восхищаюсь его творчеством и готова служить ему по мере сил с полным самоотречением.

Поскольку наши книги, по-видимому, выйдут почти одновременно, нам, вероятно, следовало бы обменяться гранками. Таким образом мы избегнем противоречий, которые могут возбудить подозрения критиков.

Все, что касается старости Жерома, его угасания после первого апоплексического удара, вы знаете лучше меня. Этот период его жизни я полностью предоставляю вам. Я хочу довести свою книгу до того момента, когда мы с ним расстались (к чему вспоминать ссоры, которые начались вслед за этим?). Но в эпилоге я кратко расскажу о вашем замужестве, потом о моем и о том, как я узнала о смерти Жерома в Америке, где я жила со своим вторым мужем. Сидя в кинотеатре, я вдруг во время показа хроники увидела на экране торжественную церемонию похорон, последние фотографии Жерома и вас, мадам, как вы спускаетесь с трибуны, опершись на руку премьер-министра. По-моему, это очень выигрышный конец для книги.

Впрочем, я совершенно уверена, что и вы напишете прелестную книжицу.

V. Мадам Жером-Ванс – издательству «Лис»

Париж, 7 февраля 1937 года

Я только что узнала, что мадам Тереза Берже (которая, как вам известно, была первой женой моего мужа) готовит том своих воспоминаний. Нам необходимо ее опередить и для этого опубликовать нашу книгу к осени. Я представлю вам рукопись 15 июля. Меня очень порадовало, что Соединенные Штаты и Бразилия сделали заявки на право издания книги.

VI. Тереза – Надин

Эврё, 9 декабря 1937 года

Мадам, в связи с успехом моей книги в Америке (Клуб книги присудил ей премию «Лучшей книги месяца») я недавно получила две длинные телеграммы из Голливуда и, прежде чем ответить на них, считаю своим долгом выяснить ваше мнение. Агент одного из крупнейших продюсеров Голливуда предлагает мне экранизировать «Жизнь Жерома Ванса». Вам известно, что Жером очень популярен в Соединенных Штатах в среде либеральной интеллигенции и его «Послания» считаются там классикой. По причине этой популярности, а также из-за того, что в фигуре нашего мужа американцы видят нечто апостольское, продюсер хочет, чтобы и фильм получился трогательный и благородный. Вначале у меня просто волосы встали дыбом от некоторых его требований. Но, поразмыслив, я решила, что мы обязаны пойти на любую жертву ради того, чтобы завоевать Жерому всемирное признание, содействовать которому в наше время может только кинематограф. Мы обе хорошо знали Жерома и понимаем, что и сам он поступил бы точно так же, потому что, когда речь шла о славе, историческая истина всегда отступала для Жерома на второй план.

Вот три наиболее щекотливых обстоятельства:

а) Голливуд очень дорожит версией о том, что Жером вышел из народа, терпел жестокие лишения, и хочет в трагическом свете изобразить, как он боролся с нуждой в юные годы. Мы знаем, что это ложь, но ведь, в конце концов, самому Жерому эта версия тоже была по душе. Так с какой же стати нам с вами быть в этом вопросе щепетильнее самого героя?

б) Голливуд хочет, чтобы во времена «дела Дрейфуса» Жером занимал решительную позицию и даже поставил на карту свою карьеру. Правда, исторически это неточно и хронологически невозможно, но эта неувязка никак не может повредить памяти Жерома, а скорее даже наоборот.

в) Наконец, – и это самый трудный вопрос – Голливуд считает неудобным вводить двух женщин в жизнь Жерома Ванса. Поскольку его первый брак был браком по любви (а конфликт с моей семьей вносит в это особую романтическую нотку), специфическая эстетика кинематографа требует, чтобы это был счастливый брак. Поэтому продюсер просит моего разрешения «слить» двух жен Жерома – то есть вас и меня – в один персонаж. Для концовки фильма он использует материалы, взятые из вашей книги, но припишет мне ваше поведение во время болезни и смерти Жерома.

Я предвижу, как оскорбит вас это последнее предложение, да и сама я вначале его отвергла. Но агент Голливуда прислал мне еще одну телеграмму, в которой привел весьма веские доводы. Роль мадам Ванс будет, разумеется, поручена какой-нибудь кинозвезде. А ни одна крупная актриса не станет сниматься в фильме, если ей предстоит играть только в первой серии. Он даже сослался на такой пример: для того чтобы заполучить известного актера на роль Босвелла в «Марии Стюарт», пришлось сочинить какие-то идиллические эпизоды, связывающие Босвелла с юностью королевы. Согласитесь, что, если даже хорошо известные события истории приспосабливаются таким образом к требованиям экрана, нам с вами просто не к лицу проявлять смешной педантизм, когда речь идет о наших скромных особах.

Я хочу добавить, что: а) эта единственная супруга не будет похожа ни на вас, ни на меня, потому что играть нас будет актриса, с которой продюсер в настоящее время связан контрактом, а у нее нет никакого сходства ни с вами, ни со мной; б) Голливуд предлагает очень крупный гонорар (шестьдесят тысяч долларов, то есть более миллиона франков по нынешнему курсу), и, конечно, если вы согласитесь на указанные изменения, я готова самым щедрым образом оплатить ваше соавторство, связанное с использованием вашей книги.

Прошу вас телеграфировать мне, так как Голливуд ждет от меня немедленного ответа.

VII. Надин – Терезе (телеграмма)

10. XII.37.

ВОПРОС СЛИШКОМ ВАЖЕН ОБСУЖДЕНИЯ ПИСЬМАХ ТЧК ВЫЕЗЖАЮ ПАРИЖ ЧЕТЫРНАДЦАТИЧАСОВЫМ 23 БУДУ У ВАС 18 ЧАСОВ ТЧК СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ=НАДИН

VIII. Тереза – Надин

Эврё, 1 августа 1938 года

Дорогая Надин!

Как видите, я снова в моем милом деревенском доме, который вам знаком и который вы полюбили. Живу здесь одна, потому что муж мой в отъезде на три недели. Я буду счастлива, если вы приедете ко мне и проживете здесь, сколько сможете и захотите. Вы будете делать все, что вам вздумается – читать, писать, работать, – я сама занята сейчас моей новой книгой и предоставлю вам полную свободу. Если вы предпочтете посмотреть здешние окрестности – а они прелестны, – моя машина в вашем распоряжении. Но если вечером на досуге вам захочется посидеть со мной в саду, – мы поболтаем с вами о прошлом, о нашем «печальном прошлом», а также о делах.

Искренне любящая вас

Тереза Берже

История одной карьеры

В предпоследнюю субботу каждого месяца в мастерской художника Бельтара собирались: депутат Ламбер-Леклерк (сейчас он уже помощник министра финансов), писатель Сиврак и драматург Фабер, автор той самой пьесы «Король Калибан», что еще недавно гремела на сцене театра «Жимназ».

В один из таких вечеров Бельтара представил друзьям своего двоюродного брата – молодого провинциала, решившего посвятить себя литературе.

– Этот мальчик, – объявил Бельтара, – написал роман. На мой взгляд, книга его ничуть не хуже других произведений подобного рода, и я прошу тебя, Сиврак, прочитать ее. У моего кузена нет никаких знакомств в Париже, он инженер и живет в Байе.

– Счастливый вы человек, – сказал юноше Фабер. – Сочинили роман, живете в провинции и ровным счетом никого не знаете в Париже! Ваша карьера обеспечена! Издатели тотчас начнут драться за честь «открыть» ваш талант, и если вы умело составите себе репутацию, то через год ваш успех затмит даже славу нашего друга Сиврака. Но послушайтесь моего совета: никогда не показывайтесь в столице! Байе… Это же замечательно – Байе. Мыслимо ли противиться обаянию человека, живущего в Байе? На вид вы славный малый, но таковы уж люди: чужую гениальность они выносят лишь на приличном расстоянии.

– Советую вам сказаться больным, – вмешался Ламбер-Леклерк, – очень многие добились успеха таким путем.

– Но что бы ты ни предпринимал, – сказал Бельтара, – ни в коем случае не бросай своей службы. Служба – это отличный наблюдательный пункт. Если же ты запрешься в своем кабинете, то через год станешь писать как профессионал: твои сочинения будут безупречны по форме и невыносимо скучны.

– Глупец! – презрительно воскликнул Сиврак. – «Служба – отличный наблюдательный пункт»! Как не стыдно умному человеку повторять такие пошлости! Да что может писатель найти в мире такого, что не жило бы уже в нем самом? Разве Пруст покидал свою обитель? Разве Толстой уезжал из своей деревни? Когда его спрашивали, кто такая Наташа, он отвечал: «Наташа – это я». А Флобер…

– Прошу прощения, что я решаюсь возражать тебе, – отвечал Бельтара, – но Толстого окружала многочисленная родня, и в этом был один из источников его силы. А Пруст часто бывал в отеле «Ритц», он имел множество друзей, и все это давало богатую пищу его воображению. Что же до Флобера…

– Ясно!.. – оборвал его Сиврак. – Но представь себе, что Пруст не мог бы черпать свои сюжеты из светской жизни – все равно у него нашлось бы что сказать. Пруст одинаково восхитителен, когда рассказывает о своей болезни, о комнате, где он жил, или о своей старой служанке. А кроме того, я берусь доказать тебе, что даже самого блестящего ума, у которого к тому же имеется возможность наблюдать жизнь в самых любопытных ее проявлениях, еще недостаточно для создания истинного произведения искусства. Взять, к примеру, нашего друга Шалона… У кого, как не у него, было больше возможности и времени наблюдать самые различные круги общества? Шалон был на короткой ноге с художниками, писателями, промышленниками и актерами, политическими деятелями, дипломатами, он имел доступ за кулисы театра, где разыгрывается человеческая комедия. А каков результат? Увы, мы знаем, чем это кончилось!..

– А в самом деле, что стало с Шалоном? – спросил Ламбер-Леклерк. – Что с ним? Кто из вас слыхал о нем?

– У нас с ним один издатель, – ответил Сиврак, – и я иногда сталкиваюсь у него с

Шалоном, но наш друг делает вид, будто не узнает меня.

Наклонившись к хозяину дома, молодой провинциал вполголоса осведомился, кто такой Шалон.

– Сиврак, – сказал Бельтара, – расскажи-ка этому младенцу историю карьеры Шалона. Для человека его возраста пример этот может быть поучителен.

Сиврак встал и, пересев на край дивана, тотчас начал рассказ, построенный по всем правилам искусства. Его резкий насмешливый голос, казалось, рубил звуки.

– Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать о знаменитом классе риторики лицея Генриха IV, выпуска 1893 года? Во всяком случае, он стяжал в академических кругах не меньшую известность, чем прославленный некогда выпуск Эколь Нормаль, где были, как вы знаете, Тэн, Прево-Парадоль, Сарсе и Эдмон Абу. Этот класс, как до сих пор твердит мне при каждой встрече один из наших старых учителей, был «колыбелью знаменитых мужей», потому что в этом классе одновременно учились Бельтара, Ламбер-Леклерк, Фабер и я. Ламбер-Леклерк, который тогда уже готовился к политическому поприщу и вместе с Фабером проводил все вечера на скачках...

– Никакого почтения к моему превосходительству... – вздохнул помощник министра.

– Вы, ваше превосходительство, были единственным из нас, чьи юношеские склонности уже тогда позволяли предсказать ваше будущее. Бельтара, напротив, не проявлял особенного интереса к живописи, а Фабер не выказывал ни малейшего расположения к драматургии. Наш преподаватель литературы, отец Гамлен, говорил ему: «Бедняга Фабер, наверное, вы никогда не освоите как следует французский язык». Суждение вполне справедливое, но ныне, кажется, отвергнутое невежественной публикой. Я же в те годы высшее эстетическое наслаждение находил в том, что рисовал Венеру на полях школьных тетрадей. Наш кружок дополнял Шалон.

Это был белокурый юноша с тонкими, приятными чертами лица. Он мало утруждал себя занятиями, зато много читал, столь же удачно выбирая любимых поэтов, как и галстуки. Безупречный вкус создал ему громадный авторитет в нашем кружке. Прочитав к тому времени историю общества «Тринадцати», мы вчетвером да еще Шалон решили создать по их примеру свою «Пятерку». Каждый член «Пятерки» дал клятву всегда и во всем поддерживать остальных. Мы условились, что деньги, влияние, связи – все, чего добьется любой из нас, – будет служить всем членам кружка. Это было прекрасно задумано, но замысел наш так и не претворился в жизнь – по выходе из лицея нам пришлось расстаться. Его превосходительство и я посвятили себя изучению права. Фабер, которому надо было зарабатывать на жизнь, поступил на службу в банк своего дядюшки. Бельтара занялся медициной. Окончательно нас разлучила военная служба, а затем и другие случайности судьбы. В течение шести лет мы почти ничего не слыхали друг о друге.

В Салоне 1900 года я впервые увидал картину Бельтара. Я был удивлен тем, что он сделался художником, но еще больше изумил меня его талант. Когда человек обнаруживает талант у друга детства, это неизменно повергает его в глубочайшее изумление. Хотя все мы понимаем, что любой гений кому-нибудь да приходился приятелем, все же почти невозможно свыкнуться с мыслью, что кто-то из твоих приятелей – гений. Я тотчас написал Бельтара, и он пригласил меня к себе. Мне понравилось в его мастерской, и я стал частенько наведываться к нему. После длительного обмена письмами и телеграммами мне удалось наконец созвать «Пятерку» на обед. Тут каждый из присутствовавших рассказал, чем он занимался после окончания лицея.

По воле случая трое из нас избрали отнюдь не тот путь, который был уготован им родителями. Бельтара, вступив в связь с натурщицей, забавы ради написал с нее несколько картин, которые оказались весьма удачными. Эта женщина и ввела его в

круг художников. Он стал учиться живописи, добился на этом поприще успеха и спустя несколько месяцев окончательно оставил занятия медициной.

Затем он поехал на юг Франции – в те края, где родился и вырос. Он написал здесь множество портретов марсельских торговцев и их жен и заработал на этом тысяч двадцать франков. Это позволило ему, когда он возвратился в Париж, работать над тем, что его интересовало. Он показал мне несколько полотен, где он «утверждал свое творческое “я”», как говорили тогда критики.

Фабер, чья одноактная пьеса была сыграна любителями во время одного из вечеров в доме его дяди, удостоился восторженной похвалы со стороны некоего старого драматурга, дядюшкиного приятеля. Этот добряк почувствовал расположение к Фаберу и рекомендовал театру «Одеон» первую пьесу нашего товарища – «Степь». Ламбер-Леклерк служил секретарем сенатора от департамента Ардеш, и тот обещал выхлопотать ему должность супрефекта. Я же успел написать к тому времени несколько новелл, которые предложил вниманию «Пятерки».

Шалон молча слушал нас. Он сделал ряд тонких и справедливых замечаний о моих первых литературных опытах. Отметил, что сюжет одного из рассказов – как бы вывернутая наизнанку новелла Мериме, а в стиле слишком явно ощущается влияние Барреса, которым я в ту пору увлекался. Он успел побывать на пьесе Фабера и, выказав поразительное понимание драматургических приемов, растолковал автору, как лучше переработать одну из сцен. Вместе с Бельтара он обошел его мастерскую и с удивительной тонкостью и глубиной рассуждал об импрессионистской живописи. Разговорившись с Ламбер-Леклерком, он дал точный анализ политической ситуации в департаменте Ардеш, тут также обнаружив глубокое знание предмета. Все это снова укрепило наше прежнее убеждение, что из всех членов кружка самый блистательный, несомненно, Шалон. С искренней почтительностью мы попросили его, в свою очередь, поведать нам о своих успехах.

Получив в наследство восемнадцати лет от роду довольно значительное состояние, он поселился в маленькой квартире со своими любимыми книгами и, по его словам, приступил к работе сразу же над несколькими произведениями.

Первое было задумано как большой роман в духе гётевского «Вильгельма Мейстера» и должно было составить лишь первый том «Новой человеческой комедии». У Шалона родился также замысел театральной пьесы, в которой он собирался отдать дань одновременно Шекспиру, Мольеру и Мюссе. «Вы понимаете, что я имею в виду: она должна быть полна фантазии и иронии, легкости и глубины». Кроме того, он начал работать над трактатом «Философия духа». «В какой-то мере он будет перекликаться с Бергсоном, – пояснил он, – но я пойду гораздо дальше в области анализа».

Я навестил его, и мне, ютившемуся тогда в меблированных комнатах, квартира его показалась самым очаровательным уголком на свете. Старинная мебель, несколько копий статуэток из Лувра, отличная репродукция Гольбейна, полки с книгами в роскошных переплетах, рисунок Фрагонара – подлинник – все свидетельствовало о том, что хозяин квартиры – истинный художник.

Он угостил меня английской сигаретой удивительного цвета и аромата. Я попросил разрешения прочитать начало «Новой человеческой комедии», но Шалон еще не дописал до конца первую страницу. Его пьеса не продвинулась дальше заголовка, а в фундамент «Философии духа» было заложено лишь несколько карточек. Зато мы долго любовались прелестным миниатюрным изданием «Дон Кихота», снабженным восхитительными рисунками, которое он купил у соседнего букиниста, рассматривали автографы Верлена, изучали каталоги торговцев картинами. Я провел у него весь вечер – он был чрезвычайно приятным собеседником.

Итак, случаю было угодно вновь соединить «Пятерку», и наш кружок сплотился

теснее, чем когда бы то ни было.

Шалон, как человек без всяких занятий, обеспечивал связь между членами кружка. Он часто проводил целые дни в мастерской Бельтара. С тех пор как Бельтара написал портрет миссис Джервис, супруги американского посла, наш приятель был в большой моде. К нему то и дело наведывались хорошенькие женщины – позировать для портрета и приводили с собой подруг, которым вменялось в обязанность присутствовать на очередном сеансе или оценить уже законченную работу. Мастерская была битком набита черноглазыми аргентинками, белокурыми американками, эстетствующими англичанками, сравнивавшими нашего приятеля с Уистлером. Многие из этих женщин приходили сюда ради Шалона, который развлекал их и очень им нравился. Бельтара, быстро оценив привлекательность нашего друга, умело использовал его обаяние. В его мастерской Шалона всегда ждало кресло, справа лежал ящик с сигарами, слева – кулечек с конфетами. Он являлся – и в мастерской все сразу оживлялось, а во время сеансов в его обязанности входило развлекать позирующую даму. Он сделался необходим еще и потому, что обладал редким даром художественной композиции. Никто лучше его не умел найти нужное обрамление и позу для той или иной клиентки. Наделенный поразительным ощущением цветовой гармонии, он не раз указывал художнику какой-либо ускользающий желтый или голубой тон, который необходимо было тотчас закрепить на полотне.

– Ты писал бы блестящие статьи о живописи, старина! – говорил Бельтара, восхищенный столькими его дарованиями.

– Знаю, – невозмутимо отвечал Шалон, – да только я не хочу разбрасываться.

В мастерской Бельтара он свел знакомство с госпожой Тианж, герцогиней Капри, Селией Доусон и миссис Джервис и от каждой получил приглашение на обед. Для них он был «литератор», друг Бельтара, – так они и представляли его своим гостям: «Господин Шалон, известный писатель». Он стал своего рода литературным советником модных красавиц. Они водили его с собой в книжные лавки и просили руководить их чтением. Каждой из них он обещал посвятить один из романов, которым предстояло войти в «Новую человеческую комедию».

Многие рассказывали ему о себе. «Прошу вас, поведайте мне историю вашей жизни, – говорил он. – Знание тайных пружин незаурядного женского ума необходимо мне, чтобы совладать с той огромной махиной, которую я задумал». Его приятельницы убедились, что он не болтлив, и очень скоро ему стали поверять все пикантные тайны парижского света. Стоило ему только появиться в каком-нибудь салоне, как к нему тотчас устремлялись самые очаровательные женщины. Привыкнув изливать ему душу, они вскоре нашли, что он замечательный психолог. Стали говорить: «Шалон – самый тонкий и умный из всех мужчин».

– Взяться бы тебе за психологический роман, – сказал я ему однажды. – Никто лучше тебя не сможет описать современную «Доминику».

– Не спорю, конечно, это так, – отвечал он мне с видом человека, обремененного множеством обязанностей и вынужденного отказываться от того, что он сделал бы с удовольствием, – но ведь мне нужно двигать мою махину… Как-никак я должен сосредоточиться на чем-то одном.

Часто Фабер заходил за ним в мастерскую и уводил на репетицию какой-нибудь новой пьесы. Со времени шумного успеха его «Карнавала» Фабер стал видной фигурой в театрах парижских бульваров. Бывают минуты, когда доведенные до изнеможения актеры и постановщик чуть ли не готовы бросить пьесу на произвол судьбы, – тогда-то Фабер прибегал к помощи Шалона, полагаясь на его свежий глаз. Тот блестяще справлялся с этой задачей. Он чувствовал динамику каждой сцены, внутреннюю устремленность каждого акта, безошибочно замечал фальшивую интонацию или чрезмерно затянувшуюся тираду. Поначалу актеров раздражал этот чужак, но очень скоро они привыкли считать его своим. Актеры, испокон веков враждующие с драматургами, полюбили этого человека, который

сам ничего еще не создал. Он быстро завоевал известность в театральном мире, сначала как «друг господина Фабера», а затем и под собственным именем. Когда он с улыбкой входил в театр, капельдинеры сразу находили ему место. Вначале некоторые, а потом и все театры стали приглашать его на генеральные репетиции.

– Из тебя получился бы отличный театральный критик, – говорил Фабер.

– Пожалуй, – отвечал Шалон, – но все же каждому свое.

Когда членам «Пятерки» исполнилось по тридцать четыре года, я получил Гонкуровскую премию за свой роман «Голубой медведь», а Ламбер-Леклерк стал депутатом. К этому времени Фабер и Бельтара были уже хорошо известны. Дружба, соединявшая нас, нисколько не ослабела. Казалось, без всякого труда воплощается в жизнь тот смелый замысел, который так сильно занимал нас в лицее. Наш маленький кружок постепенно протягивал к разным слоям общества свои мощные и цепкие щупальца. Мы и впрямь представляли собой в Париже известную силу, чье влияние было особенно велико потому, что проявлялось не через официальные каналы.

Конечно, юридическое признание того или иного художественного союза влечет за собой определенные преимущества. Славу, завоеванную одним из его членов, публика невольно приписывает всем остальным. А название кружка, если только оно удачно выбрано, возбуждает любопытство. Так, если образованному человеку в 1835 году было простительно не знать, кто такой Сент-Бёв, то быть незнакомым с «романтиками» считалось позором. Однако неудобства, сопутствующие официальному существованию художественных объединений, пожалуй, еще очевиднее преимуществ. Упадок славы, как раньше ее блеск, захватывает всех членов кружка. Доктрины и манифесты становятся прекрасной мишенью для нападок. Одиночные бойцы менее уязвимы.

У каждого из нас была своя область деятельности, а потому мы не знали ни зависти, ни соперничества. Мы составляли влиятельную группу, спаянную взаимным восхищением. Когда один из нас проникал в какой-нибудь новый салон, он тотчас начинал так живо расхваливать четырех остальных членов кружка, что его тут же одолевали просьбами привести их. Леность ума до такой степени свойственна большинству людей, что они всегда готовы принять суждение, вынесенное каким-либо авторитетом. Фабера считали крупным драматургом, потому что так отзывался о нем я, я же слыл «глубочайшим из романистов», потому что это без конца повторял Фабер. Когда в мастерской Бельтара мы устроили свой прием – нечто вроде венецианского карнавала XVIII века, – нам без особого труда удалось собрать у себя весь цвет Парижа. Это был прелестный вечер. Хорошенькие женщины сыграли небольшую комедию Фабера в декорациях Бельтара. Разумеется, истинным хозяином дома все наши гости считали Шалона. У него было столько же свободного времени, сколько обаяния. И так получилось само собой, что он стал законодателем нашей светской жизни. Когда нам говорили: «Ваш обворожительный друг…» – мы знали, что речь идет о Шалоне.

Он по-прежнему ничего не делал – под этим я подразумеваю не только то, что он не добавил ни единой строчки к задуманному роману, как, впрочем, и к пьесе, и к «Философии духа», – нет, Шалон бездельничал в самом прямом смысле слова. Мало того что он не выпустил в свет ни одной книги, но он за всю свою жизнь не написал ни одной статьи в журнал, ни даже газетной заметки, ни разу не выступил с речью. И вовсе не потому, что ему было трудно добиться издания своих книг, – он был знаком, и притом весьма близко, с лучшими издателями и редакторами журналов. Нельзя также сказать, что это было следствием обдуманного решения навсегда остаться в роли наблюдателя. Слава привлекала Шалона, как и всех. Безделье его было результатом различных и взаимно переплетающихся причин – врожденной лености, неустойчивых интересов, своего рода паралича воли. Настоящий художник всегда болезненно раним, именно эта ранимость и не дает ему погрязнуть в повседневности, заставляет «парить» над ней. Шалон же слишком уютно расположился в жизни, она вполне его устраивала. Его безграничная леность отражала всю полноту его счастья.

К тому же не было писателя, который не называл бы нашего друга «мой дорогой собрат» и не посылал бы ему своих книг. По мере того как другие члены кружка поднимались по ступеням иерархической лестницы светского Парижа, где все строго отмерено, несмотря на кажущееся пренебрежение к условностям, Шалон тоже продвигался вперед, и ему также перепадали почести, заработанные тем или другим из нас. Мы всячески заботились о том, чтобы его самолюбие никоим образом не ущемлялось. Так свежеиспеченный генерал, слегка смущенный честью, которой, как он опасается, он мог быть обязан случаю, старается оказать протекцию старому приятелю по Сен-Сиру.

Понемногу около нас начали вертеться юноши, искавшие нашей поддержки. К Шалону, державшемуся с нами на равной ноге, они обращались не иначе как «дорогой мэтр», – поколение это славится осмотрительностью. Возможно, что в своем кругу они спрашивали друг друга: «А что он такое написал? Ты читал что-нибудь из его книг?» Случалось, какой-нибудь невежда начинал расточать ему хвалу за «Голубого медведя» или «Короля Калибана».

– Простите, – сухо отвечал несколько задетый Шалон. – Это и в самом деле стоящие вещи, да только не мои.

Впрочем, из нас пятерых он был единственным, охотно соглашавшимся просматривать чужие рукописи и давать советы, бесполезные, как все советы, но неизменно тонкие и мудрые.

Эта даровая слава складывалась постепенно и так естественно, что никого из нас не удивляла. Мы были бы изумлены и обижены, если бы кто-нибудь вдруг забыл пригласить нашего друга на одну из тех официальных церемоний, где собирается «литературный и артистический мир». Но никто никогда не забывал этого делать. Лишь изредка, когда судьба сталкивала нас с каким-нибудь прекрасным, живущим в бедности, одиноким и безвестным художником, отвергнутым публикой и государством, мы на мгновение, случалось, задумывались над парадоксальностью успеха, выпавшего на долю Шалона. «Да, – думали мы, – быть может, это и впрямь несправедливо, да что поделаешь? Так было, так будет. К тому же у того, другого, есть талант, выходит, он все равно в выигрыше».

Однажды утром, придя к Шалону завтракать, я застал у него усердного юношу, сортировавшего какие-то старые журналы. Шалон представил его: «Мой секретарь». Это был очень милый мальчик, только что окончивший Эколь де Шарт.

Позднее Шалон рассказал, что он платит своему секретарю триста франков в месяц и что расход этот несколько стесняет его.

– Да что поделаешь, – добавил он сокрушенно, – нашему брату трудно обходиться без секретаря.

Война 1914 года точно ударом сабли отсекла прежнюю жизнь. Бельтара пошел в драгуны, Фабер стал летчиком на Салоникском фронте, а Ламбер-Леклерк, заработав почетную рану, вернулся в парламент и вскоре сделался помощником министра. Шалон вначале был солдатом интендантства при каком-то складе, его отозвало оттуда ведомство пропаганды, и он закончил войну на улице Франциска I. Когда мы с Фабером демобилизовались, он оказался нам чрезвычайно полезен: за время нашего длительного отсутствия мы успели утратить контакт с парижским светом, он же, напротив, близко сошелся со многими влиятельными людьми.

Бельтара получил крест за военные заслуги. Фабер уже давно был представлен к награде. Ламбер-Леклерк добился от своего коллеги по департаменту искусств, чтобы я был включен в первую партию штатских, награжденных после заключения мира. «Четверка» угостила меня чудесным обедом с икрой, осетриной и водкой в одном из ресторанов, открытых русскими эмигрантами. Музыканты в шелковых рубахах исполняли цыганские мелодии. Нам показалось – может быть, под

влиянием надрывных цыганских песен, – что Шалон в этот вечер был немного грустен.

Домой я возвращался вместе с Фабером, жившим по соседству со мной. Была прекрасная зимняя ночь. Шагая по Елисейским полям, мы говорили о Шалоне.

– Бедняга Шалон! – заметил я. – Все-таки горько, должно быть, в его возрасте, оглянувшись назад, увидеть ничем не заполненную пустоту!..

– Ты думаешь, он сознает это? По-моему, он просто великолепен в своей беспечности…

– Не знаю. Скорее всего он воспринимает жизнь в двух планах. Когда все идет хорошо, когда повсюду поют ему хвалу и наперебой зазывают к себе, он и не вспоминает, что не сделал ничего, чтобы заслужить такой почет. Но в глубине души он не может этого не сознавать. Тревога постоянно копошится в нем и прорывается наружу, как только вокруг него стихает восхищенный гул. Взять, к примеру, сегодняшний вечер, когда все вы с такой теплотой говорили о моих книгах, а я отвечал вам как умел, разве мог он не почувствовать, что самому-то ему нечего сказать о себе?

– Но бывают люди, начисто лишенные честолюбия, а потому не знающие зависти!

– Конечно, бывают, да только вряд ли Шалон из их числа. Человек такого рода должен быть либо предельно скромным, раз и навсегда сказавшим себе: «Все это для меня недосягаемо», либо непомерно гордым, провозгласившим: «Мне всего этого не нужно». А нашему Шалону нужно то же, что и всем, да только леность берет в нем верх над честолюбием. Уверяю тебя, положение его мучительное.

Мы долго говорили на эту тему – оба мы довольно охотно высказывали свои мысли на этот счет. На фоне ни с чем не сравнимого творческого бесплодия Шалона мы еще явственнее ощущали собственную плодовитость, и это приятное чувство возбуждало в наших сердцах острую жалость к другу.

Назавтра мы с Фабером отправились в министерство к Ламбер-Леклерку.

– Мы хотим, – сказал я ему, – поделиться с тобой мыслями, которые возникли у нас вчера после нашей встречи… Не думаешь ли ты, что Шалону неприятно видеть, что мы четверо украшены наградами и только он один остался в стороне? Не имеет значения, говоришь ты? Согласен, но ведь ничто вообще не имеет значения. Награда – это символ. Наконец, если она и впрямь лишена всякого значения, то почему бы Шалону не быть в числе награжденных, подобно всем нам и многим другим?

– Лично я не возражаю, – сказал Ламбер-Леклерк, – но для этого нужны какие-то заслуги…

– Что? – возмутился помощник министра из глубины дивана, на котором возлежал. – Не мог я сказать такую пошлость!

– Прости, но Фабер может подтвердить. Ты сказал: «Нужна хотя бы видимость заслуг…»

– Так-то лучше, – согласился Ламбер-Леклерк. – Ведь я не имел никакого отношения к ведомству искусства и не мог творить, что мне заблагорассудится. Помнится, однако, я сказал вам, что если только Шалон согласен получить награду по моему ведомству, дело нетрудно уладить.

– Все это, конечно, чепуха! – продолжал рассказчик. – Но готов признать – ты быстро сдался… Прошло немного времени, и Шалон также получил свой крест. Вручая ему ходатайство, которое он должен был подписать, я был несколько

раздосадован тем, что он все это воспринял как нечто вполне закономерное. И я имел неосторожность сказать ему, что нам было нелегко вырвать для него эту награду.

– В самом деле? – спросил он. – А я, наоборот, полагал, что это чрезвычайно просто.

– Да, разумеется, если бы мы могли перечислить твои заслуги…

Но удивление его было так велико, что я поспешил переменить разговор.

Друзья и почитатели Шалона устроили в его честь небольшой банкет. Ламбер-Леклерк привел с собой министра национального просвещения, оказавшегося человеком весьма неглупым. Пришли также два члена Французской академии, член Гонкуровской академии, актрисы и просто светские люди. Атмосфера с самого начала была весьма приятная. Человек, если только не мучит его зависть или страх, в общем, животное незлобивое. А Шалон никому не мешал и каждому был симпатичен. Уж коль скоро представилась возможность обласкать его, все были рады стараться. В глубине души гости понимали, что герой вечера – это фикция, которую они сами создали. Они были даже признательны ему за то, что своим существованием он всецело обязан их покровительству, и в причудливом взлете его фортуны видели некое подтверждение собственного могущества – ведь только они исторгли эту славу из небытия. Людовик XIV неизменно благоволил к людям, которые были обязаны ему всем, и эта королевская черта всегда присуща избранникам судьбы.

За десертом один из поэтов прочитал прелестные стихи. Министр произнес небольшую речь «в тоне теплой дружеской иронии», как сказали бы братья Гонкуры. Он говорил о скрытом от глаз непосвященных, но глубоком влиянии Шалона на современную французскую литературу, о его таланте собеседника, о Ривароле и Малларме. Все обедавшие поднялись из-за стола и стоя приветствовали героя вечера. Затем Шалон произнес ответную речь, исполненную изящества и скромности. Его выслушали с большим участием и непритворным волнением. Одним словом, бывают же удачные вечера, а этот вечер оказался на редкость приятным.

Я отвез Шалона домой в своем автомобиле.

– Все было очень мило, – сказал я ему.

Лицо его осветилось счастливой улыбкой.

– Да, не правда ли? – отозвался он. – Но самое большое удовольствие доставила мне полная искренность всех гостей.

И он был прав.

Таким образом, карьера Шалона предстала нашим радостным взорам во всем великолепии, ровная и прямая, как королевская дорога. Ни единого пятнышка на ней, ни одного провала – преимущество ничтожества в том и состоит, что оно неуязвимо. В мечтах мы уже видели ленточку Почетного легиона в петлице нашего друга, а потом и галстук, свидетельствующий о принадлежности к высшим чинам этого ордена. Уже в некоторых знакомых домах поговаривали о том, не пора ли избрать Шалона в Академию. Княгиня Т. как-то даже коснулась этого вопроса в беседе с академиком, от которого зависели выборы «бессмертных». Он ответил: «Да, мы уже и сами подумывали, но сейчас это еще несколько преждевременно». Лицо Шалона постепенно обретало ту прекрасную просветленность, которую дает высшая мудрость или же полнейшая праздность, что, впрочем, быть может, одно и то же.

Как раз в это время к нему вдруг начала проявлять интерес миссис Глэдис Пэкс. Глэдис Ньютон Пэкс была богатой и хорошенькой американкой, которая, как почти все богатые и хорошенькие американки, проводила (да и сейчас проводит) большую часть года во Франции. У нее прекрасная квартира на улице Франциска I и дом на юге Франции. Ее муж, Уильям Ньютон Пэкс, был председателем правления «Юниверсал раббер компани» и нескольких железнодорожных акционерных обществ. Сам он жил в Европе только во время отпуска.

Все мы были давно знакомы с Глэдис Пэкс, которая страстно увлекалась современной литературой, живописью и музыкой. В пору дебюта Бельтара она уделила ему много внимания. Она покупала его картины, заказала ему свой портрет и помогла получить заказ на тот самый портрет миссис Джервис, который положил начало его славе художника. Два года подряд она говорила со своими друзьями лишь об одном Бельтара, давала обеды в честь Бельтара, устраивала выставки Бельтара и наконец пригласила его провести зиму в ее доме в Напуле, чтобы он мог там спокойно поработать.

Вскоре к Бельтара пришел успех, а успех начисто убивал интерес миссис Пэкс к своему протеже. Глэдис отличалась замечательным умом, но в своей любви к искусству напоминала некоторых биржевых спекулянтов – тех самых, что пренебрегают ценными бумагами и упорно интересуются лишь акциями, еще не известными широкой публике, но перспективными, как показывают добытые ими секретные и точные сведения. Ей нравились писатели, которых никто не издает, безвестные драматурги, чьи пьесы в лучшем случае раза три показал какой-нибудь авангардистский театр, музыканты типа Эрика Сати (до того, как у него появились последователи) или же эрудиты, посвятившие себя какой-нибудь редкой области знания, вроде индийских религиозных книг или китайской живописи.

Впрочем, среди людей, которым она покровительствовала, не было еще ни единой бездарности, не было даже посредственности. Глэдис предприимчива и наделена вкусом. Но страх впасть в банальность, вульгарность способен отвратить ее от самого лучшего, что есть на свете. Я не могу представить себе Глэдис Пэкс зачитывающейся Толстым или Бальзаком. Она одевается отлично, у лучшей портнихи, но тотчас бросает платье, даже самое изящное и любимое, как только узнает, что у него появился двойник. Точно так же она обращается со своими писателями и художниками: как только ее подруги начинают их признавать, она «уступает» их прислуге.

Кажется, я сам виноват в том, что она взяла на прицел Шалона. Однажды на обеде у Элен де Тианж меня посадили рядом с Глэдис. Случилось так, сам не знаю почему, что мы заговорили о Шалоне, и, помнится, я сказал:

– Нет, он никогда ничего не издавал, но у него большие замыслы и некоторые работы уже начаты...

– Вы видели их?

– Да, но я ничего не могу о них рассказать. Это чрезвычайно беглые наброски.

Я говорил без всякого умысла, но этого было достаточно, чтобы возбудить любопытство женщины типа Глэдис Пэкс. Сразу же после обеда она захватила Шалона в плен и, к великой досаде Элен, любившей, чтобы на ее приемах гости свободно переходили от одной группы беседующих к другой, весь вечер не отпускала его от себя. Я наблюдал за ними издали. «Мне следовало бы предвидеть это... – говорил я себе. – Ну, конечно же, Шалон для Глэдис Пэкс – прямо находка. Она ищет что-то свежее, никому не известное. Но никто не может похвастаться более узким читательским кругом, чем Шалон, у которого вообще нет читателей. И где найти что-либо более недоступное публике, чем его произведения, которые даже не написаны? Физик, добивающийся все большего разрежения воздуха в баллоне, стремится к абсолютному вакууму. Так и Глэдис Пэкс в поисках таланта, почти ни в чем себя не проявившего, неизбежно должна была столкнуться с пустотой. В лице Шалона она обрела ее. Это подлинный венец карьеры для обоих.

Видно, я одним махом осчастливил двоих».

В самом деле, следующий день ознаменовал начало эры Шалона в жизни Глэдис Пэкс. Было условлено, что он обедает у нее три раза в неделю, что она придет к нему взглянуть на рукописи, а зимой увезет его в Напуль, «чтобы он мог спокойно поработать». Несколько дней меня мучил страх при мысли о первом знакомстве Глэдис Пэкс с рукописями Шалона. Я опасался, что даже она сочтет его заметки слишком незначительными. Но, как оказалось, я проявил излишнюю трусость и ошибся в своих предположениях. Я встретил Глэдис на другой день после ее визита к Шалону – она была в восторге.

– There is more in this… – сказала она мне. – В заметках и замыслах вашего друга больше оригинальных мыслей, чем в пространных сочинениях Генри Джеймса…

Все шло отлично.

Эта духовная идиллия продолжалась около двух месяцев. За это время Глэдис Пэкс успела оповестить весь Париж о том, что она решила заняться изданием произведений непризнанного гения, иначе говоря – нашего Шалона. Она уже нашла издателя и теперь была занята поисками переводчика, который перевел бы книгу Шалона на английский язык. Она представила Шалона всем знаменитым иностранцам, проезжавшим через Париж, – Джорджу Муру и Пиранделло, Гофмансталю и Синклеру Льюису. Затем, исчерпав все возможные способы действия, она потребовала, чтобы Шалон дал ей какой-нибудь текст.

Она удовлетворилась бы самой малостью, коротким эссе, небольшими заметками, даже несколькими страницами рукописи, однако Шалон, который, по своему обыкновению, и не думал приниматься за работу, ничем не мог ее порадовать. Он объявил ей это с безмятежностью, которая в ту пору ничем еще не была омрачена. Но Глэдис Пэкс не могла оставить гения «нераскрытым». Раз десять в жизни она уже брала под свое крылышко этих безвестных бедняг, робких людишек, которые непонятно почему наделены таинственным даром писать книги, создавать картины или сочинять музыку, и за какие-нибудь несколько месяцев превращала каждого в знаменитость, знакомства с которой все искали и перед которой благоговели. Эти метаморфозы доставляли ей живейшее наслаждение. Она твердо и с полным основанием верила в свое умение отыскивать таких людей и создавать им известность. Уж коль скоро она взяла на себя роль наставницы Шалона, он обязан был приняться за работу, хотел он того или нет.

Не знаю, как она добилась этого – скорее всего лестью, а может быть, заманчивыми обещаниями (в кокетстве я ее не подозреваю – я всегда знал, что Глэдис совершенно холодна и преисполнена добродетели), но однажды утром ко мне в сильном смущении явился Шалон.

– Я пришел спросить у тебя совета, – сказал он мне. – Глэдис Пэкс предлагает предоставить мне на зиму свой дом в Напуле, чтобы я мог там спокойно поработать. Сказать по правде, мне не очень-то хочется расставаться с Парижем… К тому же я не ощущаю сейчас прилива творческих сил… Но я знаю, что мое согласие доставит ей большую радость. Она сильно увлечена моим романом… Да и сама мысль о том, что, быть может, за несколько месяцев уединения я завершу свой труд, довольно заманчива…

«Завершить свой труд» – выражение это показалось мне забавным эвфемизмом, ведь, насколько мне было известно, Шалон даже не начинал работать над романом. Но поскольку он говорил с невозмутимой серьезностью, я не стал придираться к слову.

– Что ж, – отвечал я ему, – я в восторге от этой идеи. Миссис Пэкс тысячу раз права. Ты, бесспорно, обладаешь большим талантом, каждый день ты в самых обычных беседах с людьми расточаешь целые главы блестящей книги. Если женская забота и восхищение, а также спокойная обстановка помогут тебе наконец высказать мысли, которые, как мы хорошо знаем, просятся на бумагу, –

все мы будем очень рады… Соглашайся, старина, ты доставишь мне этим большое удовольствие… Ты всем нам доставишь большое удовольствие…

Он поблагодарил меня и спустя несколько дней зашел проститься. За всю зиму мы получили от него лишь несколько открыток. В феврале я отправился в Напуль проведать его.

Дом Пэксов чрезвычайно красив, они реставрировали небольшой замок, возвышающийся над заливом и выстроенный в ярко выраженном провансальском стиле. Контраст между суровостью окрестного пейзажа и чуть ли не сказочным уютом, царящим в доме, производит впечатление волшебства. Сады спускаются вниз террасами; чтобы создать эти террасы на скалистом склоне, понадобилось доставить сюда горы бетона. За огромные деньги Пэксы вывезли из Италии кипарисы, живописной стеной обрамлявшие назойливо декоративный пейзаж. Когда я вошел в дом, дворецкий объявил мне, что господин Шалон занят. Ждать пришлось довольно долго.

– Ах, дорогой мой, – сказал Шалон, когда наконец соблаговолил выйти ко мне, – право, я не знал, что такое труд. Пишу, и ощущение радости, щедрости чувств не покидает меня. Мысли одолевают, оглушают. Перо не успевает запечатлевать образы, воспоминания, размышления, которые рвутся наружу. Скажи, знакомо это тебе?

Я смиренно признался, что лишь редко испытывал подобный пароксизм изобилия. Однако, сказал я, вполне естественно, что в этом он счастливее меня и что долгое молчание, видно, позволило ему накопить такой материал, который и не снился никому из нас.

Я провел весь вечер вдвоем с ним (миссис Пэкс еще не перебралась сюда из Парижа) и нашел в нем любопытные перемены. До сих пор один из основных секретов его обаяния таился в на редкость занимательной беседе. Мне самому, располагавшему лишь скудным досугом для чтения, было очень приятно иметь в лице Шалона человека, который читал решительно все. Ему я был обязан открытием наиболее интересных молодых писателей. Поскольку он выезжал каждый вечер то в театр, то на какой-нибудь светский прием, никто в Париже не знал больше его всевозможных историй, интимных драм, забавных анекдотов. А главное – Шалон был одним из тех редких друзей, с которым всегда можно поговорить о себе, о своей работе, чувствуя при этом, что твой рассказ действительно интересует его и что твой собеседник в это время не думает о чем-то своем. А это чрезвычайно приятно.

Однако человек, которого я увидел в Напуле, был совсем не похож на того, прежнего Шалона. Вот уже два месяца, как он не раскрывал ни одной книги, ни с кем не виделся. Он говорил только о своем романе. Я начал рассказывать ему о наших общих друзьях. Несколько минут он слушал меня, затем, вынув из кармана маленькую записную книжку, принялся записывать.

– Что ты делаешь? – спросил я.

– О, пустяки, просто мне пришла в голову одна мыслишка, которая пригодится для моего романа, и я боюсь упустить ее…

Минуту спустя, когда я повторил ему остроумное словцо одного из заказчиков Бельтара, записная книжка снова оказалась тут как тут…

– Опять! Это уже похоже на манию!

– Дорогой мой, пойми: я вывел в своей книге персонаж, который кое-чем напоминает нашего Бельтара. То, что ты сейчас рассказал, может мне пригодиться.

Он весь был во власти того чудовищного всепоглощающего усердия, которое свойственно начинающим, исполнен рвения неофита. Я привез с собой несколько глав моей новой книги и собирался прочитать их Шалону, стремясь, как всегда, узнать его мнение. Но добиться, чтобы он выслушал меня, оказалось невозможным. Я пришел к заключению, что он стал невыносимо скучен. Но окончательно он вывел меня из терпения, когда начал с пренебрежением отзываться о писателях, перед которыми мы всегда преклонялись.

– Вот как, ты восхищаешься естественностью Стендаля? – спросил он. – И это тебя потрясает? Но в сущности, ни «Пармская обитель», ни «Красное и черное» не поднимаются над уровнем газетных «романов с продолжением». Мне думается, можно писать несравненно лучше...

Я был почти рад, когда пришло наконец время прощаться.

Вернувшись в Париж, я сразу по достоинству оценил, каким замечательным «импресарио» была Глэдис Пэкс. В столице уже много толковали о книге Шалона, и именно так, как надо. Здесь не было и следов той грубой и шумной рекламы, которая отталкивает утонченную публику. Глэдис, по-видимому, владела секретом создания романтической известности и умела окружить имя своего избранника неярким, таинственным ореолом. Поль Моран как-то сказал о ней, что она открыла «герметизм».

Со всех сторон меня засыпали вопросами: «Вы вернулись с юга? Видели Шалона? Говорят, книга его замечательна?»

Глэдис Пэкс провела весь март в Напуле и вскоре сообщила нам, что роман почти завершен, но Шалон ничего ей не показывал. Он заявил, что его детище представляет собой единое целое и знакомить кого бы то ни было с отрывками означало бы безжалостно разрывать ткань произведения.

Наконец в начале апреля она известила нас, что Шалон возвращается в Париж и что по его просьбе она в одну из ближайших суббот пригласит нас к себе – послушать чтение романа.

О, это чтение! Мы, наверное, никогда не сможем его забыть. Гостиную на улице Франциска I убрали точно для театрального спектакля. Свет был почти всюду потушен, горела лишь огромная венецианская лампа, чье молочно-белое сияние мягко освещало фигуру читавшего, рукопись и красивую ветку шиповника, стоявшую позади Шалона в вазе китайского фарфора. Телефон был выключен.

Слуги получили приказ ни под каким предлогом не тревожить нас. Шалон нервничал, держался с наигранной веселостью и излишним фатовством, а торжествующая миссис Пэкс вся сияла от радости. Она усадила его в кресло, поставила перед ним стакан воды, поправила абажур. Он надел толстые роговые очки, откашлялся и наконец начал читать.

После первых же десяти фраз мы с Фабером переглянулись. Есть такие виды искусства, где легко ошибиться в оценке, где новизна видения, оригинальность манеры ошеломляют зрителя настолько, что суждение его часто бывает несправедливым, но писатель – тот виден с первых же слов. И тут нам сразу открылось самое худшее: Шалон не умел писать, совсем-совсем не умел. Когда начинающий молод, наивность и непосредственность его книги могут показаться привлекательными. Шалон же писал плоско и глупо. От этого тонкого, столь искушенного человека мы скорее ожидали чрезмерной усложненности. Но столкнулись мы с совершенно иным – с романом, который могла бы написать мидинетка, – так назойливо выпирала в нем дидактика, унылая и примитивная. Когда Шалон подошел к третьей главе, нам – вслед за ничтожностью формы – открылась также ничтожность сюжета. Мы смотрели друг на друга с отчаянием. Бельтара еле заметно пожал плечами. Его взгляд говорил мне: «Ну кто бы подумал?» А Фабер качал головой и словно бормотал: «Возможно ли это?» Я же следил за Глэдис Пэкс. Понимала ли она, подобно нам, чего стоила книга Шалона?

Сначала она слушала его с радостным удовлетворением, но вскоре стала беспокойно ерзать на стуле и время от времени вопросительно поглядывала на меня. «Какой провал! – подумал я. – Что же сказать ей?»

Читка длилась более двух часов, и за это время никто из присутствовавших не разомкнул рта. До чего же патетичны плохие книги, как беспощадно обнажено в них сердце писателя. Самые лучшие намерения проявляются с поистине детской беспомощностью, в них неудержимо раскрывается наивная душа автора. Слушая Шалона, я с изумлением обнаружил, что в душе его гнездился целый мир разочарований и грусти, мир подавленных чувств. Я подумал, забавно было бы написать книгу о человеке, сочинившем плохой роман, и дать полный текст этого романа, что позволило бы взглянуть на героя с неожиданной и совсем новой стороны. Шалон читал, и его чувствительность, выраженная в такой уродливо-нелепой форме, напоминала трогательную и смешную любовь чудовища.

Когда он закончил, некоторое время все хранили молчание. Мы надеялись, что нас выручит Глэдис Пэкс. В конце концов, ведь она была хозяйкой дома и устроительницей этого вечера. Но лицо ее дышало мрачной враждебностью. Бельтара, как истый сын юга, наделенный замечательным хладнокровием, понял, что надо спасать положение, и тут же экспромтом произнес подходящую к случаю тираду. Объяснив наше молчание волнением, он выразил благодарность миссис Пэкс, без которой, сказал он, никогда не была бы написана эта прекрасная книга. Обернувшись ко мне, он заключил:

– Сиврак, я полагаю, сочтет за честь отнести ее своему издателю.

– О, – сказал я, – моему или другому, все равно… Кажется, миссис Пэкс…

– Нет, зачем же другому? – живо возразил Шалон. – Твой издатель мне нравится, он знает свое дело. Если ты согласен взять на себя этот труд, я буду тебе очень признателен.

– Ну, разумеется, дорогой мой, нет ничего легче.

Молчание миссис Пэкс становилось неприличным. Она позвонила слугам, велела принести оранжад и печенье. Шалон начал прощупывать гостей – для полноты счастья ему нужны были конкретные высказывания.

– Что вы думаете об образе Алисы?

– Очень хорош! – сказал Бельтара.

– Не правда ли, мне удалась сцена примирения?

– Это лучший эпизод книги, – сказал Бельтара.

– О нет! – возразил Шалон. – Совсем нет. Самый лучший – это момент встречи Джорджаны с Сильвио.

– Ты прав, – согласился Бельтара, – эта сцена еще сильнее.

Миссис Пэкс отвела меня в сторону.

– Прошу вас, – сказала она, – будьте со мной откровенны. Ведь это жалкий, смешной лепет, не правда ли? Совсем-совсем безнадежный?

Я утвердительно кивнул головой.

– Как же это могло случиться? – продолжала она. – Если бы только я могла подумать… Но он казался таким умницей…

– Он и есть умница, дорогая миссис Пэкс. Талант писателя и светское остроумие – разные вещи. Но ошибиться тут немудрено.

– No, no, it’s unforgivable!.. А главное, нельзя допустить, чтобы книга вышла в свет. После всего, что я о ней говорила… Надо сказать ему, что это чушь, не правда ли, что это просто срам?

– Погодите, умоляю вас. Вы не представляете себе, какую рану вы ему нанесете. Завтра, встретясь с ним с глазу на глаз, я постараюсь объяснить ему все. Но сегодня пощадите его. Уверяю вас, иначе нельзя.

Назавтра, как только я попытался подвергнуть критике какую-то деталь его книги, Шалон встретил мое деликатное и робкое замечание с таким негодующим высокомерием, я почувствовал в нем такую болезненную настороженность, что мужество тут же покинуло меня. Долгий опыт убедил меня в полной бесплодности подобных попыток. К чему лишний раз представлять известную сцену из «Мизантропа» (акт I, явление 2-е)? Я знал, что в ответ услышу неизменное в таких случаях: «А я утверждаю, что стихи мои очень хороши», и у меня недостанет жестокости дать на это правдивый ответ. Разумнее было сразу же отступить. Уходя, я взял рукопись и тут же отнес своему издателю, которому я ее вручил, сказав лишь, что это книга Шалона.

– В самом деле? – переспросил он. – Это книга Шалона? Я просто в восторге, что получу ее. Я уже столько слышал о ней. Очень признателен вам, дорогой друг, что вы вспомнили обо мне. Как вы думаете, может быть, сразу предложить ему контракт на десять лет вперед?

Я посоветовал немного с этим повременить. У меня еще теплилась слабая надежда, что он прочитает книгу и откажется ее издавать. Но вы ведь все знаете, как делаются такие дела. Наши имена – мое и Шалона – служили издателю поручительством, и он отправил рукопись в набор, даже не просмотрев ее. Эта весть утешила Шалона, огорченного поведением своей покровительницы.

Миссис Пэкс три дня дожидалась результата моих усилий. Когда же она узнала, чем кончилось дело, то, как честная и неподкупная протестантка, сурово отчитала меня за малодушие, Шалону же написала сухое письмо, которое он на следующий день с удивлением и негодованием показал нам. Он долго искал причину, которая могла бы послужить объяснением столь вопиющей несправедливости со стороны Глэдис. В конце концов он остановился на одной версии, совершенно абсурдной, но избавлявшей его от унижения. Он вообразил, будто Глэдис Пэкс узнала себя в чуть-чуть смешной англичанке, выведенной в его книге. После этого он вновь обрел прежнюю безмятежную ясность и больше о Глэдис не вспоминал.

Спустя три месяца книга вышла в свет.

Первые отклики прессы были довольно доброжелательны. К Шалону все были слишком расположены, и никто не хотел огорчать его без надобности. Критики из числа его друзей сдержанно хвалили книгу, остальные отмалчивались.

Зато с потрясающей быстротой распространялась молва. Несколько дней подряд каждый, кого я встречал, бросался ко мне со словами: «Ну, что вы скажете о Шалоне? Виданное ли дело? Это же вовсе не простительно!» Через месяц весь Париж, не читая книги, уже знал, что ее и не стоит читать. В витринах книжных магазинов поблекли красивые обложки романа: сначала они из желтых сделались бледно-лимонного цвета, затем стали чернеть. К концу года весь тираж вернулся к издателю. Он безвозвратно потерял затраченные средства, а Шалон между тем уверял, будто его ограбили.

Провал книги немало озлобил его. Отныне он начал делить человечество на две категории людей: «те, кто хорошо отнесся к моей книге», и «те, кто плохо отнесся к ней». Это чрезвычайно осложняло наши связи с обществом. Когда мы устраивали обед, Шалон говорил:

– Нет, этого не зовите! Терпеть его не могу!

– Почему? – удивлялся Фабер. – Он умен и совсем неплохой малый.

– Неплохой малый? – возмущался Шалон. – Да он ни слова не написал мне о моей книге!

Этот человек, прежде такой скромный и обаятельный, теперь страдал невыносимым тщеславием. Он неизменно носил в кармане хвалебную рецензию, опубликования которой я добился с огромным трудом, и читал ее всем и каждому.

Когда какой-нибудь критик перечислял наиболее талантливых романистов нашего поколения, Шалон негодовал, не обнаружив в этом списке своего имени. «Биду – подлец!» – говорил он. Или: «От Жалу я этого не ждал!..» В конце концов, подобно тем безумцам, которые сначала уверяют, будто их преследуют соседи, а затем начинают считать своими врагами собственную жену и детей, он вдруг решил, что и «Пятерка» недостаточно хорошо отнеслась к его книге, и постепенно отдалился от нас.

Быть может, в какой-нибудь другой, менее искушенной среде он все еще находил то беспричинное и слепое уважение, которое мы так долго выказывали ему. Три раза подряд он не являлся на наши встречи. Бельтара написал ему, но ответа не получил. Тогда было решено, что я отправлюсь к нему как посланец всей «Четверки».

– Ведь в конце-то концов, – говорили мы, – бедняга не виноват, что лишен таланта!

Я застал его дома, он принял меня, но в обращении его сквозила холодность.

– Нет, нет, – отвечал он мне. – Все дело в том, что люди подлы, и вы ничем не лучше других. Пока я был у вас на ролях советчика, восторженного поклонника ваших талантов, вы оставались моими друзьями. Но как только я вздумал сам заняться творчеством, как только ты, да, именно ты, почувствовал во мне возможного соперника, ты сделал все, чтобы замолчать мою книгу.

– Я?! – воскликнул я. – Да если бы ты знал, сколько я предпринял усилий в твоих интересах...

– Знаю... Видел, как это делается: начинают за здравие, а выходит за упокой!..

– Боже мой, Шалон, ты чудовищно несправедлив! Да вспомни тот день, когда ты пришел ко мне сказать, что уезжаешь в Напуль, где сможешь наконец спокойно поработать. Ты колебался, говорил, что не чувствуешь подъема творческих сил, – если бы я не поддержал тебя тогда, ты бы остался. Но я ободрил тебя, похвалил твое решение!..

– Вот именно, – сказал Шалон. – Этого-то я никогда вам не прощу – ни Глэдис Пэкс, ни тебе.

Он поднялся, подошел к двери и распахнул ее, давая понять, что разговор окончен. Уходя, я успел расслышать следующие знаменательные слова:

– Вы загубили мою карьеру.

– Но всего любопытнее, – заметил Бельтара, – что Шалон был совершенно прав.

Прилив

– Сбрасывать маски? – переспросил Бертран Шмит. – Вы всерьез думаете, что людям надо почаще сбрасывать маски? А я так, напротив, полагаю, что все человеческие отношения, если не считать редчайших случаев бескорыстной дружбы, на одних только масках и держатся. Если обстоятельства иной раз вынуждают нас открыть вдруг всю правду тем, от кого мы привыкли ее скрывать, нам вскоре приходится раскаяться в своей необдуманной откровенности.

Кристиан Менетрие поддержал Бертрана.

– Я помню, как в Англии произошла катастрофа, – сказал он. – В шахте взорвался рудничный газ, и там оказались заживо погребены человек двенадцать шахтеров… Через неделю, не надеясь больше на спасение и понимая, что обречены, они ударились вдруг в своеобразное публичное покаяние. Представляете: «Ладно, раз все равно умирать, я могу признаться…» Против всякого ожидания, их спасли… С той поры они никогда не встречались друг с другом… Каждый инстинктивно избегал свидетелей, которые знали о нем слишком много. Маски вновь были водворены на место, и общество спасено.

– Да, – подтвердил Бертран. – Но бывает и по-другому. Помню, как во время одной из поездок в Африку мне пришлось стать невольным свидетелем потрясающего признания.

Бертран откашлялся и обвел всех нас неуверенным взглядом. Странный человек Бертран – ему много приходилось выступать публично, но это не излечило его от застенчивости. Он всегда боится наскучить слушателям. Но так как в этот вечер никто не обнаружил намерения его перебить, Бертран приступил к рассказу.

– Вряд ли кто из вас помнит, что в 1938 году по просьбе «Альянс франсез» я объездил Французскую Западную и Экваториальную Африку и другие заморские территории, выступая там с лекциями… Где я только не побывал – в английских, французских, бельгийских колониях (в ту пору еще было в ходу слово «колонии») – и ничуть об этом не жалею. Европейцы в эти страны наезжали редко, и местные власти принимали их по-королевски, или, вернее сказать, по-дружески, что, кстати, гораздо приятнее… Не стану называть вам столицу маленького государства, где произошли события, о которых пойдет речь в моем рассказе, потому что действующие лица этой истории еще живы. Мои главные герои: губернатор, человек лет пятидесяти, седовласый, гладко выбритый, и его жена, женщина значительно моложе его, черноглазая блондинка, живая и остроумная. Для удобства повествования назовем их Буссарами. Они радушно приютили меня в своем «дворце» – большой вилле казарменного типа, расположенной среди красноватых скал и весьма оригинально обставленной; там я два дня наслаждался отдыхом. Посредине гостиной лежала тигровая шкура, на которой стоял столик черного дерева, а на нем я обнаружил «Нувель ревю франсез», «Меркюр де Франс» и новые романы. Я выразил восхищение заведенными в доме порядками молодому адъютанту губернатора лейтенанту Дюга.

– Я тут ни при чем, – заявил он. – Это мадам Буссар… Цветы и книги по ее части.

– А что, мадам Буссар – «литературная дама»?

– Еще бы… Разве вы сами не заметили?.. Жизель, как мы ее непочтительно зовем между собой, окончила Эколь Нормаль в Севре. До замужества она преподавала литературу в Лионе… Там губернатор вновь увидел ее во время отпуска… Я говорю – увидел вновь, потому что он был с ней знаком раньше. Жизель – дочь одного из близких друзей моего патрона. Он влюбился в нее, и она согласилась поехать за ним сюда. Как видно, она тоже давно его любила.

– Несмотря на разницу в возрасте?

– В ту пору губернатор был неотразим. Те, кто встречал его до женитьбы, говорят,

что он пользовался громадным успехом у женщин… Теперь-то он постарел.

– Такие браки плохо сказываются на здоровье.

– Ну, тут дело не только в браке. Патрон прожил трудную жизнь… Тридцать лет службы в Африке. В этом климате, в вечных тревогах, работая как вол… Патрон – человек, каких мало… Сюда он приехал десять лет назад. В этих непроходимых дебрях жили дикие племена. Они подыхали с голоду. Жрецы науськивали их друг на друга, подстрекали к убийствам, к похищению детей и женщин, к человеческим жертвоприношениям… Патрон усмирил, объединил все эти племена, научил их выращивать деревья какао… Поверьте мне, это нешуточное дело – убедить людей, которым неведомо само понятие «будущее», сажать деревья, начинающие плодоносить лишь через шесть лет.

– А дикари не жалеют об утраченной свободе, о безделье? Как они относятся к губернатору?

– Они его любят или, вернее, почитают… Как-то раз мне пришлось сопровождать губернатора, когда он посетил одно из здешних племен. Вождь дикарей преклонил перед ним колена. «Ты обошелся со мной как отец с ленивым сыном, – сказал он. – Ты сделал доброе дело… ты вразумил меня… Теперь я богат…» Эти люди очень умны, вы в этом убедитесь, их легко просвещать, если уметь к ним подойти… Но чтобы внушить им уважение, надо быть чуть ли не святым.

– А губернатор – святой?

Молодой лейтенант взглянул на меня с улыбкой.

– Смотря по тому, что понимать под словом «святой», – сказал он.

– Ну, не знаю… человек абсолютно безгрешный.

– А-а, ну что ж, патрон именно таков… Я не знаю за ним никаких пороков, даже слабостей, разве что одну-единственную… Он честолюбив, но это не мелочное тщеславие, а желание принести пользу делу… Он любит управлять и хотел бы, чтобы его попечению вверяли все более обширные территории.

– Совсем как маршал Лиотей, который воскликнул: «Марокко? Да ведь это деревушка… А мне подавайте земной шар!»

– Вот именно. Патрон был бы счастлив, доведись ему управлять нашей маленькой планетой. И, поверьте мне, он справился бы с этой обязанностью лучше других.

– Но ваш святой был когда-то донжуаном?

– Велика беда – святой Августин начал с того же. Что поделаешь – грехи молодости… Зато, женившись, губернатор стал примерным мужем… А ведь вы сами понимаете, в его положении случаи представляются на каждом шагу… Уж на что я – всего только тень губернатора, и то…

– И вы таких случаев не упускаете?

– Да ведь я не губернатор, не святой, к тому же я не женат… Я пользуюсь преимуществом своей безвестности… Однако поговорим о вашей поездке, дорогой мэтр. Вы знаете, что патрон намерен сопровождать вас завтра до вашего первого пункта назначения?

– Губернатор в самом деле предложил мне место в своем личном самолете. Он сказал, что ему надо провести инспекцию на побережье, присутствовать на открытии какого-то памятника… А вы тоже летите с нами?

– Нет… Кроме вас и губернатора, летит только мадам Буссар, которая не любит отпускать мужа одного в полеты над джунглями, пилот и комендант местного гарнизона, подполковник Анжелини, который участвует в инспекции.

– Я встречал его?

– Не думаю, но он вам понравится… Это блестящий, остроумный человек… Дока в военных делах… Был когда-то офицером разведки в Марокко, один из питомцев вашего маршала Лиотея. Молодой, а уже в чине подполковника… Будущность блестящая…

– Скажите, а долго ли нам лететь?

– Какое там! Час над джунглями до дельты, потом километров сто над пляжем – и вы на месте.

Прощальный обед во «дворце» прошел очень мило. На нем присутствовал подполковник Анжелини, которому надлежало подготовить все к отъезду. Этого подполковника можно было принять за капитана. Он был молод годами и душой, говорил много и увлекательно. В нем чувствовался склонный к парадоксам, подчас дерзкий ум человека очень образованного. Анжелини лучше губернатора был осведомлен о нравах туземцев, об их тотемах и табу, и, к моему большому удивлению, мадам Буссар вторила ему с полным знанием дела. Губернатор с откровенным восхищением слушал жену и время от времени украдкой поглядывал в мою сторону, чтобы проверить, какое впечатление она производит на меня. После обеда он увел Анжелини и Дюга в свой кабинет, чтобы обсудить с ними какие-то неотложные дела, я остался наедине с Жизелью. Она была кокетлива, а я легко попадаюсь на эту удочку, и, почувствовав, что я возымел к ней доверие, она тотчас заговорила со мной о подполковнике.

– Какое он на вас произвел впечатление? – спросила мадам Буссар. – Вам, писателю, он должен нравиться. В этих краях он незаменим. Муж во всем на него полагается… А я здесь чувствую себя в некотором роде изгнанницей, и Анжелини вносит в нашу жизнь дыхание Франции… и света… При случае заставьте его почитать вам стихи. Это ходячая антология.

– Что ж, я воспользуюсь этим во время полета.

– Нет, – возразила Жизель, – в самолете вы ничего не услышите из-за шума пропеллера.

Часам к десяти вернулись губернатор с подполковником, и вскоре после этого мы все разошлись, потому что вылет из-за ожидавшейся непогоды был назначен на четыре часа утра.

Когда чернокожий бой разбудил меня, небо хмурилось. С востока дул резкий ветер. Я налетал на своем веку много тысяч километров и поэтому сажусь в самолет без всякой опаски. И все же я недолюбливаю полеты над джунглями: там негде приземлиться, а уж если и удастся сесть на какой-нибудь прогалине, все равно мало надежд, что тебя обнаружат пилоты, отправленные на поиски.

Спустившись к завтраку, я увидел за столом лейтенанта Дюга.

– Сводка скверная, – озабоченно сообщил он. – Пилот советовал отложить вылет, но патрон и слышать об этом не хочет. Он уверяет, будто ему всегда везет и к тому же сводки чаще всего врут.

– Будем надеяться, что губернатор прав: у меня вечером лекция в Батоке, а туда можно добраться только самолетом.

– Мне храбриться легко, – заметил Дюга. – Я не лечу. Но я и в самом деле согласен с патроном. Катастрофы, о которых предупреждают заранее, никогда не случаются.

Вскоре в столовую спустились губернатор с женой. Он был в белом полотняном кителе, на котором выделялась орденская планка. Мадам Буссар, в элегантном

спортивном костюме, казалась его дочерью. Она еще не стряхнула с себя сон и была молчалива. На взлетной дорожке (громадной просеке, вырубленной среди леса) нас ждал подполковник, который с насмешливым вызовом поглядывал на предгрозовое небо.

– Помните, – спросил он меня, – как Сент-Экзюпери описывает воздушные ямы в горах? А воздушные ямы над джунглями куда хуже. Впрочем, вы сами убедитесь. Приготовьтесь к пляске... Вам было бы лучше остаться, мадам, – обратился он к жене губернатора.

– Об этом не может быть и речи, – решительно заявила она. – Если все останутся, и я останусь, если все летят, я тоже лечу.

Летчик отдал честь губернатору и отошел с ним в сторону. Я понял, что он пытался уговорить Буссара отложить вылет, но потерпел неудачу. Губернатор вскоре вернулся к нам и сухо объявил:

– Пора.

Через несколько минут мы уже летели над морем джунглей. Шум пропеллеров заглушал голоса. Нахлестываемый ветром лес трепетал, точно холка породистого жеребца. Мадам Буссар закрыла глаза, я взял было книгу, но самолет сотрясался так, что мне пришлось ее отложить. Мы летели на высоте примерно тысячи метров над джунглями среди черных туч, в сплошной пелене дождя. Было жарко и душно. Время от времени самолет словно проваливался в пропасть, с такой силой ударяясь о слои более плотного воздуха, что казалось, крылья не выдержат.

Не стану описывать вам это кошмарное путешествие. Вообразите сами ураган, усиливающийся с каждой минутой, вздыбленный самолет и пилота, время от времени поворачивающего к нам встревоженное лицо. Губернатор был невозмутим, его жена по-прежнему сидела, закрыв глаза. Так прошло больше часа. Вдруг подполковник взял меня под руку и притянул к иллюминатору.

– Глядите! – крикнул он мне в самое ухо. – Прилив... Дельту затопило.

Моим глазам и в самом деле представилось необычайное зрелище. Там, где обрывался черный массив деревьев, не было видно ничего, кроме воды, воды без конца и края, такого желтого цвета, точно море сплошь состояло из жидкой грязи. Подгоняемые яростными порывами урагана, волны шли приступом на лес и, казалось, частично уже затопили его. Пляж исчез под водой. Пилот нацарапал карандашом какую-то записку и, полуобернувшись, протянул ее подполковнику, а тот показал мне.

«Никаких ориентиров. Радио молчит. Не знаю, где приземлиться».

Подполковник встал и, держась за спинки кресел, чтобы не упасть при толчках, направился к губернатору – передать слова пилота.

– Хватит ли у него горючего, чтобы изменить курс и вернуться?

Подполковник передал вопрос пилоту и вновь возвратился к губернатору.

– Нет, – спокойно сообщил он.

– Тогда пусть снизится и поищет, не осталось ли где-нибудь незатопленного островка или косы. Другого выхода у нас нет. – И, обернувшись к жене, которая открыла глаза, сказал: – Не пугайтесь, Жизель. Это прилив. Мы попытаемся где-нибудь приземлиться. Там мы переждем, пока ураган утихнет и нас найдут.

Она встретила это зловещее известие с поразившим меня самообладанием. Самолет резко пошел на снижение. Я ясно различал огромные желтые волны и в грязноватой дымке – деревья, гнувшиеся под порывами ветра. Пилот вел машину над границей моря и леса, ища прогалину или кусочек берега. Я молчал и думал,

что мы погибли.

«И во имя чего? – размышлял я. – За каким чертом понесло меня на эту проклятую галеру? Чтобы прочитать лекцию двум или трем сотням равнодушных слушателей? На кой черт пускаться в эти бесполезные путешествия? А впрочем, от смерти все равно не уйдешь. Не здесь – так в другом месте. Я мог попасть под грузовик на окраине Парижа, погибнуть от болезни или шальной пули… Словом – будь что будет».

Не подумайте, что я рисуюсь своим смирением перед судьбой. Просто надежда на спасение так живуча в людях, что, несмотря на очевидную опасность, я не мог поверить в неминуемость нашей гибели. Разум твердил мне, что мы обречены, тело этому не верило. Подполковник подошел к пилоту и стал вместе с ним пристально вглядываться в желтеющий океан. Я видел, как он протянул руку. Самолет лег на крыло. Подполковник обернулся к нам, и его лицо, до этого мгновения совершенно бесстрастное, теперь просияло.

– Островок, – сказал он.

– На нем довольно места для посадки? – спросил губернатор.

– Пожалуй…

И спустя несколько мгновений подтвердил:

– Да, безусловно… Идите на посадку, Боэк.

Через пять минут мы сели на песчаную отмель – по-видимому, все, что осталось от дельты, – и пилот так ловко сманеврировал, а может, ему просто повезло, что самолет застрял, вклинившись между двумя пальмами, и это защищало его от ударов ветра. А ветер бушевал с такой силой, что выйти из самолета было невозможно. Да и зачем? Куда идти? Справа и слева сотня метров мокрого песка, впереди и позади океан. Нам удалось лишь отсрочить гибель, отвратить ее полностью могло только чудо.

В этом почти безвыходном положении я был восхищен самообладанием нашей спутницы. Она держалась не только мужественно, но спокойно и весело.

– Кто хочет есть? – спросила она. – Я захватила с собой сандвичи и фрукты.

Пилот, который вышел к нам из своей кабины, заметил, что продукты лучше поберечь, потому что одному Богу известно, когда и как мы отсюда выберемся. Он еще раз попытался сообщить по радио о нашем местонахождении, но не получил никакого ответа. Я взглянул на часы. Было одиннадцать утра.

К полудню ветер немного утих. Наши пальмы держались молодцом.

Губернатор задремал. Меня тоже клонило в сон от усталости. Я закрыл глаза, но сразу же невольно открыл их от странного ощущения, будто меня обдало вдруг жаркой волной. И тут я перехватил взгляд, которым обменялись подполковник и Жизель, стоявшие в нескольких метрах друг от друга. В выражении их лиц была такая нежность, такое самозабвение, что сомнений не оставалось: они были любовниками. Это подозрение мелькнуло у меня еще накануне вечером, сам не знаю почему, – держались они безупречно. Я вновь поспешил закрыть глаза, усталость одолела меня, и я уснул.

Меня разбудил шквальный порыв ветра, с чудовищной силой рванувший самолет. Мне показалось, что наша шаткая опора не выдержала.

– Что происходит? – спросил я.

– Ураган усилился, и вода прибывает, – сказал пилот не без горечи. – На этот раз надежды нет, мсье. Через час море затопит отмель, а с ней… и нас.

Он укоризненно, а может быть, даже и озлобленно взглянул на губернатора и добавил:

– Я бретонец и верю в Бога… Я буду молиться.

Накануне Дюга рассказывал мне, что губернатор – антиклерикал в силу политической традиции, тем не менее покровительствовал миссионерам, оказывавшим ему большие услуги. Теперь на лице Буссара не выразилось ни намерения помешать пилоту, ни желания последовать его примеру. В эту минуту раздался треск: порыв ветра расщепил пальму, росшую слева. Наши минуты были сочтены. И вот тут-то Жизель без кровинки в лице в каком-то безотчетном порыве страсти бросилась к молодому подполковнику.

– Раз мы обречены, – сказала она, – я хочу умереть в твоих объятиях. – И, повернувшись к мужу, добавила: – Простите меня, Эрик… Я старалась, как могла, уберечь вас от этого горя до тех пор, пока… Но теперь все кончено и для меня, и для вас… Я больше не в силах лгать.

Подполковник встал, дрожа как лист, и пытался отстранить от себя обезумевшую женщину.

– Господин губернатор… – начал он.

Вой урагана помешал мне расслышать конец фразы. Сидя в двух шагах от Жизели и подполковника, губернатор как завороженный не сводил глаз с этой пары. Губы его тряслись, но я не мог понять, говорит ли он что-то или безуспешно пытается овладеть голосом. Он побледнел так сильно, что я испугался, как бы он не лишился чувств. Самолет, который теперь удерживало на земле только одно крыло, застрявшее в ветвях правой пальмы, трепыхался на ветру, точно полотнище знамени. Мне следовало бы думать о смертельной опасности, которая нависла над нами, об Изабелле, о близких, но все мои мысли были поглощены спектаклем, разыгрывавшимся на моих глазах.

Впереди – коленопреклоненный пилот, повернувшись спиной к остальным участникам этой сцены, бормотал молитвы. Подполковник – сердце которого, как видно, разрывалось между любовью, повелевавшей ему заключить в объятия молящую женщину, и мучительной боязнью унизить начальника, которого он, несомненно, почитал. Что до меня, то, съежившись в кресле, чтобы предохранить себя от толчков, я старался сделаться совсем незаметным и как можно меньше стеснять трех участников этой драмы. Впрочем, я думаю, они просто забыли о моем присутствии.

Наконец губернатору удалось, цепляясь за кресла, приблизиться к жене. В этой страшной катастрофе, в которой разом гибли и жизнь его и счастье, он сохранял удивительное достоинство. Ни тени гнева не было в его прекрасных чертах, только в глазах стояли слезы. Очутившись рядом с женой, он оперся на меня и с надрывавшей душу нежностью произнес:

– Я ничего не знал, Жизель, ничего… Идите ко мне, Жизель, сядьте со мной… Прошу вас… Приказываю вам.

Но она, обвив руками подполковника, пыталась привлечь его к себе.

– Любимый, – говорила она. – Любимый, зачем ты противишься? Ведь все кончено… Я хочу умереть в твоих объятиях… Любимый, неужели ты принесешь наши последние минуты в жертву щепетильности?.. Ведь я слушалась тебя, пока было необходимо, ты сам знаешь… Ты уважал Эрика, любил его… И я тоже… Да, Эрик, это правда, я любила тебя!.. Но раз мы умрем…

Кусочек металла, сорвавшийся откуда-то при особенно сильном толчке, ударил Жизель в лицо. Тоненькая струйка крови потекла по ее щеке.

– «Надо соблюдать приличия»! – с горечью сказала она. – Сколько раз ты повторял

мне эти слова, любимый… И мы геройски соблюдали приличия… Ну а теперь? Теперь речь идет не о приличиях, а о наших последних, коротких минутах…

И глухим шепотом добавила:

– Оставь же! Мы вот-вот умрем, а ты стоишь навытяжку перед призраком!

Губернатор вынул платок, склонился к жене и ловким, ласковым движением отер окровавленную щеку. Потом посмотрел на подполковника с печальной решимостью, но без укора. Мне казалось, что я прочитал в его взгляде: «Обнимите же эту несчастную… Я уже не способен страдать…» А тот, потрясенный, казалось, так же беззвучно отвечал: «Нет, не могу. Я слишком уважаю вас. Простите». Мне чудилось, что передо мной Тристан и король Марк. Я отродясь не был свидетелем такой патетической сцены. Ни звука, кроме воя ветра и неясного бормотания – молитвы пилота; а в иллюминатор видно было только свинцово-серое небо, вереницы клочковатых белесых облаков, а если глянуть вниз – желтые, все прибывающие волны.

Потом на мгновение ветер стих, и женщине, цеплявшейся за мундир офицера, удалось приподняться. С каким-то отчаянным вызовом она поцеловала его прямо в губы. Он еще несколько секунд пытался сопротивляться, но потом, уступив то ли жалости, то ли страсти, отвел наконец глаза от своего начальника и с жаром ответил на ее поцелуй. Губернатор побледнел еще больше, откинулся на спинку кресла и, казалось, потерял сознание. Инстинктивное чувство стыдливости побудило меня закрыть глаза.

Сколько времени прошло таким образом? Не знаю. Достоверно я помню лишь одно: спустя несколько минут, а может быть, часов, мне послышался в грохоте бури шум мотора. Неужели это галлюцинация? Я напряг слух и огляделся. Мои спутники тоже прислушивались. Подполковник и Жизель уже стояли поодаль друг от друга. Она сделала шаг к мужу, который приник к иллюминатору. Пилот, поднявшись с колен, шепотом спросил Буссара:

– Слышите, господин губернатор?

– Слышу. Это самолет?

– Пожалуй, нет, не похоже, – сказал пилот. – Это шум мотора, но более слабый.

– Так что же это? – спросил подполковник. – Я ничего не вижу.

– Может быть, дозорное судно?

– Как они могли узнать, что мы здесь?

– Не знаю, господин подполковник, но шум все слышнее. Они приближаются. Шум идет с востока, стало быть – со стороны берега… Глядите, господин подполковник, там серая точка, там – на волнах! Так и есть, это катер!

И он истерически расхохотался.

– Господи! – выдохнула Жизель, сделав еще один шаг к мужу.

Прильнув лицом к иллюминатору, я теперь совершенно явственно различал катер, направлявшийся к нам. С трудом преодолевая бушующую стихию, он то и дело исчезал среди вздымающихся волн, но все-таки неуклонно двигался к островку. Четверть часа понадобилось морякам, чтобы добраться до нас, и это время показалось нам вечностью. Наконец, приблизившись, они зацепились багром за пальму, но им далеко не сразу удалось переправить нас на корабль. Самолет содрогался под порывами ветра, поэтому каждое движение было чревато опасностью. Да и катер швыряло на волнах, точно щепку. Наконец летчик сумел открыть дверцу кабины и выкинуть веревочную лестницу, конец которой подхватили матросы. Я и по сей день не пойму, как это нам всем пятерым

посчастливилось переправиться на катер и никто не свалился в море.

Облачившись в непромокаемые плащи, мы с борта катера глядели на наш самолет и задним числом холодели от ужаса. Для того, кто видел его со стороны, было совершенно ясно, что это чудо эквилибристики не могло продолжаться долго. Жизель с удивительным хладнокровием пыталась привести в порядок свою прическу. Гардемарин, командовавший маленьким судном, рассказал нам, что сторожевой катер видел, как мы приземлились, и с самого утра нам пытались прийти на помощь. Но разбушевавшееся море трижды заставляло наших спасателей отступить. На четвертый раз они добились успеха. Матросы сообщили также, что наводнение причинило громадный ущерб прибрежным селам и порту Батока.

В порту нас встретил представитель местной администрации. Это был молодой чиновник колониального управления, несколько растерявшийся от множества проблем, возникших перед ним из-за стихийного бедствия. Но с той минуты, как губернатор Буссар ступил на сушу, он вновь стал «патроном». Отданные им распоряжения обличали в нем прекрасного организатора. Чтобы бросить войска на спасательные работы, ему нужно было содействие подполковника Анжелини, и я был поражен поведением обоих мужчин. Глядя, как они энергично делают общее дело, никто не заподозрил бы, что один из них оскорблен, а другого терзают угрызения совести. Мадам Буссар отвели в дом местного администратора, где молодая хозяйка напоила ее чаем и дала свой плащ, после чего Жизель немедля выразила желание принять участие в помощи пострадавшим и занялась ранеными и детьми.

– А открытие памятника, господин губернатор? – напомнил чиновник.

– Мы займемся мертвыми, когда обеспечим безопасность живых, – сказал губернатор.

О моей лекции, разумеется, не могло быть и речи. Я чувствовал, что участники этой маленькой драмы рады поскорее сплавить меня отсюда. Решено было, что в следующий пункт я отправлюсь поездом. Я зашел проститься к мадам Буссар.

– Какое ужасное воспоминание вы сохраните о нас! – сказала она.

Но я не понял, что она имеет в виду: наш страшный перелет или любовную трагедию.

– И вы их больше не встречали? – спросила Клер Менетрие.

– А вот послушайте, – ответил Бертран Шмит. – Через два года, в 1940 году, я был призван как офицер и на фландрском фронте в штабе генерала одной колониальной дивизии встретил Дюга, уже в капитанском чине. Он вспомнил о нашем ужасном путешествии.

– Вы дешево отделались, – сказал он. – Летчик рассказал мне все подробности… Он рвал и метал, негодуя на патрона, которого перед вылетом предупреждал об опасности.

После минутной неловкой заминки Дюга добавил:

– Скажите, дорогой мэтр, что такое стряслось во время полета? Мне никто ничего не сказал, но над губернатором, его женой и подполковником Анжелини с момента возвращения нависла тень какой-то драмы… Не знаю, известно ли вам, что подполковник в скором времени подал прошение о переводе и оно было удовлетворено? И что самое странное – губернатор энергично поддержал его просьбу.

– Что ж тут странного?

– Как вам сказать… Губернатор очень ценил Анжелини… И потом я думал, что кое-кто будет удерживать подполковника.

– Кое-кто?.. Вы имеете в виду Жизель?

Дюга испытующе посмотрел на меня:

– Представьте, она усерднее всех хлопотала о его переводе.

– Что же сталось с Анжелини?

– Получил полковника, как и следовало ожидать. Командует танковым соединением.

Наступили дни поражения. Потом пять лет борьбы, страданий и надежд. А потом на наших глазах Париж мало-помалу стал возрождаться к своей прежней жизни. В начале 1947 года Элен де Тианж как-то спросила меня:

– Хотите познакомиться с четой Буссар? Они сегодня завтракают у меня. Говорят, его назначают генеральным резидентом в Индокитай… Это редкий человек, может быть, несколько холодный, но очень образованный. Представьте, в прошлом году он выпустил под псевдонимом томик своих стихов… А жена у него красавица.

– Я с ней знаком, – заметил я. – Незадолго до войны мне пришлось как-то остановиться в их доме, когда Буссар был губернатором в Черной Африке… Я бы очень хотел повидать их.

Я не был уверен, что Буссаров обрадует встреча со мной. Ведь я был единственным свидетелем того, что, безусловно, составляло трагедию их жизни. Однако любопытство пересилило, и я принял приглашение. Неужели я так сильно изменился за время войны и всех ее невзгод? Буссары сначала меня не узнали. Я направился прямо к ним, но так как они глядели на хозяйку дома с вежливым недоумением, как бы прося объяснений, она назвала мою фамилию. Замкнутое лицо губернатора просияло, жена его улыбнулась.

– Как же, – сказала она. – Вы ведь приезжали к нам в Африку?

За столом она оказалась моей соседкой. Точно ступая по льду, я осторожно прокладывал себе дорогу среди ее воспоминаний. Видя, что она охотно и безмятежно поддерживает разговор, я отважился напомнить ей наш полет во время урагана.

– Ах, правда, – сказала она. – Вы ведь тоже участвовали в этой безумной экспедиции… Ну и приключение! Чудо, что мы уцелели.

Она на мгновение умолкла, потому что ей подали очередное блюдо, а потом продолжала самым естественным тоном:

– Стало быть, вы должны помнить Анжелини… Вы знаете, что он, бедняжка, убит?

– Нет, я не знал… В эту войну?

– Да, в Италии… Он командовал дивизией под Монте-Кассино и не вернулся с поля боя… Очень жаль, ему пророчили блестящее будущее. Мой муж его очень ценил…

Я озадаченно глядел на нее, гадая, понимает ли она, в какое изумление повергли меня ее последние слова. Но вид у нее был самый невинный, держалась она непринужденно и казалась опечаленной ровно настолько, насколько это принято, когда говоришь о смерти постороннего человека. И тогда я понял, что маска была водворена на место и так прочно приросла к лицу, что стала второй кожей. Жизель забыла, что я все знал.

Рождение знаменитости

Художник Пьер Душ заканчивал натюрморт – цветы в аптечной склянке и баклажаны на блюде, – когда в мастерскую вошел писатель Поль-Эмиль Глэз. Несколько минут Глэз смотрел, как работает его друг, затем решительно произнес:

– Нет!

Оторвавшись от баклажанов, художник удивленно поднял голову.

– Нет, – повторил Глэз. – Нет! Так ты никогда не добьешься успеха. Мастерство у тебя есть, и талант, и честность. Но искусство твое слишком обыденно, старина. Оно не кричит, не лезет в глаза. В Салоне, где выставлено пять тысяч картин, твои картины не привлекут сонного посетителя… Нет, Пьер Душ, успеха тебе не добиться. А жаль.

– Но почему? – вздохнул честный малый. – Я пишу то, что вижу. Стараюсь выразить то, что чувствую.

– Разве в этом дело, мой бедный друг? Тебе же надо кормить жену и троих детей. Каждому из них требуется по три тысячи калорий в день. А картин куда больше, чем покупателей, и глупцов гораздо больше, чем знатоков. Скажи мне, Пьер Душ, каким способом ты полагаешь выбиться из толпы безвестных неудачников?

– Трудом, – отвечал Пьер Душ, – правдивостью моего искусства.

– Все это несерьезно. Есть только одно средство вывести из спячки тупиц: решиться на какую-нибудь дикую выходку! Объяви всем, что ты отправляешься писать картины на Северный полюс. Или нацепи на себя костюм египетского фараона. А еще лучше – создай какую-нибудь новую школу! Смешай в одну кучу всякие ученые слова, ну, скажем, – экстериоризация, динамизм, подсознание, беспредметность – и составь манифест! Отрицай движение или, наоборот, покой; белое или черное; круг или квадрат – это совершенно все равно! Придумай какую-нибудь «неогомерическую» живопись, признающую только красные и желтые тона, «цилиндрическую» или «октаэдрическую», «четырехмерную», какую угодно!..

В эту самую минуту нежный аромат духов возвестил о появлении пани Косневской. Это была обольстительная полька, чьи синие глаза волновали сердце Пьера Душа. Она выписывала дорогие журналы, публиковавшие роскошные репродукции шедевров, выполненных трехгодовалыми младенцами. Ни разу не встретив в этих журналах фамилии честного Душа, она стала презирать его искусство. Устроившись на тахте, она мельком взглянула на стоявшее перед ней начатое полотно и с досадой тряхнула золотистыми кудрями.

– Вчера я была на выставке негритянского искусства Золотого века! – сообщила она своим певучим голосом, раскатывая звонкое «р». – Сколько экспрессии в нем! Какой полет! Какая сила!

Пьер Душ показал ей свою новую работу – портрет, который он считал удачным.

– Очень мило, – сказала она нехотя. И ушла… Благоухающая, звонкая, певучая и разочарованная.

Швырнув палитру в угол, Пьер Душ рухнул на тахту.

– Пойду служить в страховую кассу, в банк, в полицию, куда угодно! – заявил он. – Быть художником – последнее дело! Одни лишь пройдохи умеют завоевать признание зевак! А критики, вместо того чтобы поддержать настоящих мастеров, потворствуют невеждам! С меня хватит, я сдаюсь.

Выслушав эту тираду, Поль-Эмиль закурил и стал о чем-то размышлять.

– Сумеешь ли ты, – спросил он наконец, – со всей торжественностью объявить

Косневской и еще кое-кому, что последние десять лет ты неустанно разрабатывал новую творческую манеру?

– Я разрабатывал?

– Выслушай меня… Я сочиню две-три хитроумные статьи, в которых сообщу нашей «элите», будто ты намерен основать «идео-аналитическую» школу живописи. До тебя портретисты по своему невежеству упорно изучали человеческое лицо. Чепуха все это! Истинную сущность человека составляют те образы и представления, которые он пробуждает в нас. Вот тебе портрет полковника: голубой с золотом фон, а на нем – пять огромных галунов, в одном углу картины – конь, в другом – кресты. Портрет промышленника – это фабричная труба и сжатый кулак на столе. Понимаешь теперь, Пьер Душ, что ты подарил миру? Возьмешься ли ты написать за месяц двадцать «идео-аналитических» портретов?

Художник грустно улыбнулся.

– За один час, – ответил он. – Печально лишь то, Глэз, что, будь на моем месте кто-нибудь другой, затея, возможно, удалась бы, а так…

– Что ж, попробуем!

– Не мастер я болтать!

– Вот что, старина, всякий раз, как тебя попросят что-либо объяснить, ты, не торопясь, молча зажги свою трубку, выпусти облако дыма в лицо любопытному и произнеси эти вот простые слова: «А видели вы когда-нибудь, как течет река?»

– А что это должно означать?

– Ровным счетом ничего, – сказал Глэз. – Именно поэтому твой ответ покажется всем необычайно значительным. А уж после того, как они сами изучат, истолкуют и превознесут тебя на все лады, мы расскажем им про нашу проделку и позабавимся их смущением.

Прошло два месяца. Выставка картин Душа вылилась в настоящий триумф. Обворожительная, благоухающая, певуче раскатывающая звонкое «р» пани Косневская не отходила от своего нового кумира.

– Ах, – повторяла она, – сколько экспрессии в ваших работах! Какой полет! Какая сила! Но скажите, дорогой друг, как вы пришли к этим поразительным обобщениям?

Художник помолчал, не торопясь закурил трубку, выдохнул густое облако дыма и произнес:

– А видели вы когда-нибудь, мадам, как течет река?

Губы прекрасной польки затрепетали, суля ему певучее раскатистое счастье.

Группа посетителей обступила молодого блистательного Струнского в пальто с кроличьим воротником.

– Потрясающе! – горячо говорил он. – Потрясающе! Но скажите мне, Душ, откуда на вас снизошло откровение? Не из моих ли статей?

Пьер Душ на этот раз особенно долго молчал, затем, выпустив в лицо Струнскому громадное облако дыма, величественно произнес:

– А видели вы, дорогой мой, как течет река?

– Великолепно сказано! Великолепно!

В эту самую минуту известный торговец картинами, завершив осмотр мастерской,

ухватил художника за рукав и оттащил в угол.

– Душ, приятель, а ведь вы ловкач! – сказал он. – На этом можно сделать карьеру. Беру вашу продукцию. Только не вздумайте менять свою манеру, пока я вам не скажу, и я обещаю покупать у вас пятьдесят картин в год… По рукам?

Не отвечая, Душ с загадочным видом продолжал курить. Постепенно мастерская пустела. Наконец Поль-Эмиль Глэз закрыл дверь за последним посетителем. С лестницы доносился, понемногу отдаляясь, восхищенный гул. Оставшись наедине с художником, писатель с веселым видом засунул руки в карманы.

– Ну как, старина, – проговорил он, – ловко мы их провели? Слыхал, что говорил этот молокосос с кроличьим воротником? А прекрасная полька? А три смазливые барышни, которые только и повторяли: «Как это ново! Как свежо!» И, ах, Пьер Душ, я знал, что глупости человеческой нет предела, но то, что я видел сегодня, превзошло все мои ожидания.

Его охватил приступ неукротимого смеха. Художник нахмурил брови и, видя, что его друг корчится от хохота, неожиданно выпалил:

– Болван!

– Я – болван? – разозлившись, крикнул писатель. – Да сегодня мне удалась самая замечательная проделка со времен Биксиу!

Художник самодовольно оглядел все двадцать идео-аналитических портретов.

– Да, Глэз, ты и правда болван, – с искренней убежденностью произнес он. – В этой манере что-то есть…

Писатель оторопело уставился на своего друга.

– Вот так номер! – завопил он. – Душ, вспомни! Кто подсказал тебе эту новую манеру?

Пьер Душ помолчал немного, затем, выпустив из своей трубки густое облако дыма, сказал:

– А видел ли ты когда-нибудь, как течет река?

Миррина

Творчеством Кристиана Менетрие восхищались лучшие писатели нашего поколения. Правда, было у него и немало врагов, отчасти потому, что где успех – там и враги, отчасти потому, что к Менетрие признание пришло поздно, и к этому времени его собратья по перу и критики уже привыкли видеть в нем поэта для избранных, который вызывает уважение, но не способен стать баловнем публики, а стало быть, восхищаться его произведениями было и благородно, и безопасно. Начало карьеры Менетрие положила его жена Клер, женщина честолюбивая, пылкая и деятельная, убедившая в 1927 году композитора Жан-Франсуа Монтеля сочинить музыку к лирической драме мужа «Мерлин и Вивиана». Но окончательным превращением Кристиана в автора сценичных и не сходящих с подмостков пьес мы обязаны актеру Леону Лорану. История эта почти никому не известна и, на мой взгляд, заслуживает внимания, потому что проливает свет на некоторые малоизученные стороны творческого процесса.

Леон Лоран, сыгравший такую благотворную роль в возрождении французского театра между двумя войнами, на первый взгляд меньше всего напоминал «комедианта». Совершенно чуждый самовлюбленности, всегда готовый бескорыстно содействовать успеху любого шедевра, он в буквальном смысле слова был жрецом театрального искусства и при этом отличался редкой образованностью. Все, что он любил в искусстве, было действительно достойно любви, но мало этого: он знал и понимал самые сложные и непопулярные произведения. Создав свою собственную труппу, он не побоялся поставить эсхиловского «Прометея», «Вакханок» Еврипида и шекспировскую «Бурю». Его Просперо и Ариэль в исполнении Элен Мессьер запечатлелись в душе многих из нас среди самых возвышенных воспоминаний. Как актер и постановщик, Лоран вдохнул новую жизнь в произведения Мольера, Мюссе и Мариво в ту пору, когда погруженный в спячку театр «Комеди-Франсез» еще только ждал появления Эдуара Бурде, которому суждено было его пробудить. Наконец, среди наших современных писателей Лоран сумел найти тех, кто был достоин продолжать прекрасную традицию поэтического театра. Французская драматургия обязана ему школой и целой плеядой авторов.

Я уже сказал, что с первого взгляда Лорана трудно было принять за актера. В самом деле – его интонация, манеры, речь скорее вызывали представление об учителе или о враче. Но такое впечатление сохранялось недолго. Стоило вам в течение пяти минут понаблюдать его игру на сцене, и вы тотчас убеждались, что перед вами – великий актер, наделенный поразительным даром перевоплощения и способный с равным успехом быть величавым Августом в «Цинне», трагикомическим Базилем в «Севильском цирюльнике» или потешать зрителей в роли аббата из комедии «Не надо биться об заклад».

Кристиан Менетрие восхищался Лораном, не пропускал ни одной премьеры с его участием, но, по всей вероятности, между писателем и актером никогда не завязалось бы личного знакомства, так как оба были застенчивы, не вмешайся в это дело Клер Менетрие. Клер разделяла восторженное отношение мужа к Леону Лорану; она мечтала, чтобы Кристиан писал для театра, и при этом прекрасно понимала, что толкнуть его на эту стезю может только по-настоящему культурный актер. Поэтому она решила во что бы то ни стало ввести Леона в круг их интимных друзей, и ей это удалось. Клер все еще была красавицей с матовой кожей и аквамариновыми глазами, а Лоран никогда не мог устоять перед женской красотой. Вдобавок с той минуты, как знакомство состоялось, мужчины не могли наговориться о театре. У Кристиана было множество различных идей на этот счет, и большинство из них совпадало со взглядами знаменитого актера.

– Величайшее заблуждение реалистов, – говорил Кристиан, – в том, что они на сцене рабски копируют повседневную речь… А зритель как раз ищет в театре совсем другое… Нельзя забывать, что драма родилась из обряда, что шествия, выходы и хоры занимали в ней громадное место… Да и в комедии тоже… Нам твердят, что Мольер-де прислушивался к языку крючников Моста менял… Что же,

возможно, пожалуй, даже бесспорно, однако он прислушивался к этому языку, чтобы потом его стилизовать.

– Вы правы, – отвечал Леон Лоран. – Вы совершенно правы. Вот почему мне и хочется, Менетрие, чтобы вы писали для театра… Ваши лирические тирады, ваши изысканные образы… Вопреки поверхностному впечатлению они великолепный материал для актеров. Возьмите же на себя роль скульптора. Мы оживим ваши статуи.

Лоран говорил короткими фразами, которым его прекрасный голос придавал глубокую выразительность.

– Да ведь я и так пишу для театра, – отвечал Кристиан.

– Нет, дорогой! Нет!.. Вы пишете поэмы-диалоги, это театр в кресле у камина, но вы ни разу не дерзнули предстать перед публикой.

– Мои пьесы не ставят.

– Скажите лучше, что вы никогда не стремились к тому, чтобы их ставили… Вы никогда не считались с законами сцены. А ведь без этого нет театра… Напишите пьесу для меня… Да, мой друг, лично для меня… Тогда вы увидите, что такое репетиция… А это лучшая школа… Понимаете, вы еще не избавились – на мой взгляд, это ваш единственный недостаток – от некоторой ходульности символизма… Так вот, стоит вам услышать ваш текст со сцены, и вы сами заметите все ваши промахи. Театральные подмостки для драматурга – то же самое, что для оратора пластинка с записью его голоса. Он слышит свои недостатки и исправляет их.

– Вот эти самые слова я твержу Кристиану с утра до вечера, – сказала Клер. – Он создан для театра.

– Не знаю, – сказал Кристиан.

– Ну что вам стоит попробовать… Я вам повторяю: напишите пьесу для меня.

– На какой сюжет?

– Да их у вас сотни, – сказал Леон Лоран. – Боже мой, ведь каждый раз, как мы встречаемся, вы излагаете мне первый акт какой-нибудь пьесы, почти всегда блестящий. Сюжет! Да вам надо только сесть за стол и записать то, что вы мне уже рассказывали… И вообще это проще простого. Я с закрытыми глазами возьму любую пьесу, какую вы мне принесете.

Кристиан на мгновение задумался.

– Пожалуй, у меня есть одна идея, – сказал он. – Вы знаете, как меня сейчас волнует угроза войны, как я пытаюсь, к сожалению тщетно, привлечь внимание французов к откровенным планам безумцев, правящих Германией…

– Я читал ваши статьи в «Фигаро», – сказал Леон Лоран. – Они красноречивы и полезны. Но только, вы сами знаете, слишком современная пьеса…

– Да нет же, я вовсе не собираюсь предлагать вам пьесу из современной жизни. Я хотел бы перенести действие совсем в другую эпоху. Помните, как вели себя афиняне, когда Филипп Македонский требовал жизненного пространства и завоевывал одно за другим маленькие греческие государства? «Берегитесь, – твердил афинянам Демосфен. – Берегитесь! Если вы не придете на помощь Чехословакии, вам тоже не избежать гибели». Но афиняне были доверчивы, легкомысленны, а у Филиппа была пятая колонна… Демосфен потерпел поражение… А потом в один прекрасный день настал черед Афин… Это будет второй акт.

– Великолепно! – с увлечением воскликнул Леон Лоран. – Чудесно. Вот вам и сюжет! А теперь не откладывайте в долгий ящик и за работу!

– Погодите, – сказал Кристиан. – Мне надо еще кое-что перечитать. Но я уже представляю, каким вы будете блистательным Демосфеном. Ведь вы, конечно, возьмете роль Демосфена?

– Еще бы!

Восхищенная Клер до пяти часов утра упивалась их спорами о будущей пьесе. Когда Лоран и Менетрие расстались, основные сцены были уже намечены. Кристиан даже придумал финальную реплику. После множества перипетий внезапная смерть Филиппа кажется чудом, которое спасет Афины. Но Демосфен не верит ни в длительность чудес, ни в то, что афинян может спасти что-нибудь иное, кроме их собственной воли, мужества и стойкости. «Да, – говорит он, – я слышу… Филипп умер… Но как зовут сына Филиппа?» И чей-то голос отвечает: «Александр!»

– Превосходно! – воскликнул Леон Лоран. – Превосходно! Я уже представляю, как я это скажу… Менетрие! Если вы не закончите пьесу в течение месяца, вы недостойны театра.

Через месяц пьеса была завершена. Теперь мы знаем, что она оправдала все надежды Клер и Лорана. Но когда после читки пьесы в театре, ставшей подлинным триумфом автора, Лоран явился к нему, чтобы договориться о распределении ролей, сроках постановки и репетициях, вид у актера был озабоченный и смущенный. Кристиану, болезненно мнительному, как все художники, когда дело касается их творений, показалось, что Лоран не вполне удовлетворен.

– Нет, – сказал он жене после того, как Леон Лоран ушел. – Нет, что-то его не устраивает… Но что?.. Он мне не сказал… Ничего не сказал… Но что-то неуловимое… Я не стану утверждать, что пьеса ему не нравится… Наоборот, он опять говорил о своей роли и о сцене в ареопаге с увлечением, в искренности которого невозможно усомниться… Но у него какая-то задняя мысль… В чем дело? Не понимаю…

Клер улыбнулась.

– Кристиан, – сказала она. – Вы – великий писатель, и я от всей души восхищаюсь вами. Но вы трогательно наивны во всем, что касается самых простых человеческих отношений. Поверьте мне, даже не видя Лорана, я совершенно твердо знаю, что произошло.

– Что же?

– Вернее сказать – чего не произошло. Чего не хватает… А не хватает в вашей пьесе, дорогой, роли для Элен Мессьер… Признайтесь по справедливости, что я вас об этом предупреждала.

Кристиан раздраженно возразил:

– А какая тут могла быть роль для Мессьер? Она прелестная комедийная актриса, ей отлично удаются образы Мюссе и Мариво, но что ей, скажите на милость, делать в политической трагедии?

– Ах, любовь моя, вы смешиваете совершенно разные проблемы! Речь идет совсем не о том, что́ Элен будет делать в политической трагедии. Все гораздо проще – речь идет о том, что сделать, чтобы Леон Лоран жил в добром согласии со своей любовницей.

– Элен Мессьер – любовница Леона Лорана?

– Вы свалились с луны, дорогой? Они живут вместе вот уже четыре года.

– Откуда я мог это знать? И при чем здесь моя пьеса? Так вы думаете, что Лорану хочется…

– Я не *думаю,* Кристиан, я твердо знаю, что Лоран хочет и, если вы его к этому вынудите, потребует роли для Мессьер. Замечу, кстати, что, по-моему, не так уж трудно доставить ему это удовольствие… Почему бы вам не добавить одно действующее лицо…

– Ни за что! Это разрушит всю композицию моей пьесы…

– Дело ваше, Кристиан… Но мы еще вернемся к этой теме…

Они и в самом деле вернулись к этой теме, когда Леон Лоран, который становился все более озабоченным и хмурым, начал говорить о трудностях постановки, о прежних обязательствах театра, о предстоящих гастролях. Кристиан, которому с тех пор, как он закончил пьесу, не терпелось увидеть ее на сцене, тоже стал раздражительным и мрачным.

– Друг мой, – сказала ему Клер, – оставьте меня как-нибудь наедине с Лораном. Мне он решится высказать все, что у него на душе, и я обещаю вам все уладить… Разумеется, с условием, что вы напишете женскую роль.

– Да как же я ее напишу? Не могу же я переделывать пьесу, которую я имею смелость считать произведением искусства, по прихоти…

– Ох, Кристиан, ведь это же легче легкого, да еще при вашей богатой фантазии… Ну вот хотя бы во втором акте, когда македонцы организуют в Афинах пятую колонну, почему бы им не прибегнуть к услугам умной куртизанки, подруги влиятельных афинян, банкиров и государственных деятелей… Вот вам готовый персонаж – и, кстати сказать, вполне правдоподобный.

– Гм, пожалуй… И при этом можно… А знаете, вы правы, очень интересно показать секретные методы пропаганды, старые как мир…

Клер знала, что каждое семя, брошенное в воображение Кристиана, обязательно даст росток. Теперь она взялась за Лорана и тут тоже одержала полную победу.

– Ах, что за чудесная мысль! – с облегчением сказал Лоран. – Понимаете, я не смел заговорить об этом с вашим мужем – к нему невозможно подступиться, когда речь идет о его произведениях, – но публика очень плохо принимает пьесы без женщин… Даже Шекспир в «Юлии Цезаре»… Да и Корнель ввел в драму Горациев фигуру Сабины, а Расин Арисию в миф о Федре… И потом, мадам, вам я признаюсь откровенно: я бы не хотел ставить пьесу, где у Элен не будет роли… Не хотел бы… Понимаете, она молода, она привязана ко мне, но она любит танцевать, как огня боится одиночества… Если я буду каждый вечер занят в театре, она станет проводить время с другими мужчинами, и, сознаюсь вам, я потеряю покой… Но если ваш муж напишет для нее маленькую роль, все уладится… Через неделю мы начнем репетировать…

Так родился образ Миррины. Создавая ее, Кристиан вспоминал одновременно и некоторых героинь Аристофана, женщин остроумных и циничных, и кокеток Мариво, играя которых Элен Мессьер стяжала первые лавры. Из этого парадоксального сочетания, к удивлению самого автора, родился оригинальный и пленительный образ. «На редкость выигрышная роль», – говорил Лоран.

Клер пригласила Элен Мессьер к обеду, чтобы Менетрие мог прочитать ей новый вариант пьесы. Элен была прелестная крошечная женщина с длинными опущенными ресницами, осторожная и вкрадчивая, как кошечка. Говорила она мало, но ни разу не сказала глупости. Кристиану она понравилась.

– Эта отнюдь не наивная инженю прямо создана для роли коварной предательницы.

– Уж не слишком ли она вам нравится, Кристиан?

– О нет! А потом, разве она не любит Лорана? Он не только ее любовник, он ее создал. Она – творение его рук. Не будь Лорана, чего бы она стоила?

– Вы думаете, Кристиан, сознание того, что она многим ему обязана, подогревает ее нежные чувства? А вот мне, закоренелой женоненавистнице, сдается, что она скорее затаила против него неосознанную досаду… Впрочем, какое нам до этого дело? Роль ей понравилась, значит, все идет как по маслу.

Все и впрямь шло как по маслу в течение недели. Но потом Лоран снова помрачнел.

– Что с ним такое? – спросил Кристиан.

– На этот раз не знаю, – ответила Клер. – Но узнаю…

Лоран и в самом деле не заставил себя долго просить и поведал Клер свои тревоги.

– Ну так вот: роль прелестна, и Элен в восторге… Но… Понимаете, мы живем под одной крышей, и когда надо ехать в театр, берем одно такси… Какой смысл ехать врозь?.. Но если Элен появляется на сцене только во втором акте, что она станет делать целый час в своей уборной? Либо она будет скучать, а этого она совершенно не выносит, либо станет принимать поклонников… А уж я себя знаю… это отзовется на моей игре. Не говоря о моем сердце… Конечно, Кристиану Менетрие нет дела до моего сердца, но зато моя игра…

– Короче говоря, – сказала Клер, – вы хотите, чтобы Миррина появлялась на сцене в первом акте?

– Мадам, от вас ничего не скроешь.

Когда Клер передала мужу это новое требование, он сначала пришел в негодование: «Ни одному писателю не приходилось работать в таких условиях!»

Но Клер отлично знала характер Кристиана; прежде всего следовало успокоить его совесть.

– Кристиан, все драматурги работали именно в таких условиях… Вы отлично знаете, что Шекспиру приходилось считаться с внешностью своих актеров, а Расин писал для Шанмеле. Об этом свидетельствует мадам де Севинье.

– Она ненавидела Расина.

– Но она хорошо его знала.

Миррина появилась в первом акте. Надо ли говорить, что проблема такси, связанная с прибытием артистов в театр, вставала со всей остротой и после спектакля и что в последнем варианте пьесы Миррине пришлось участвовать и в третьем акте. Тут снова не обошлось без вмешательства Клер.

– В самом деле, Кристиан, почему бы этой Миррине не стать после поражения добродетельной патриоткой? Пусть она уйдет в маке́, станет любовницей Демосфена.

– Право, Клер, вздумай я следовать вашим советам, я скоро дойду до голливудских сусальностей… Хватит, больше я не добавлю ни строчки.

– Я не вижу ничего пошлого и неправдоподобного в том, что легкомысленная женщина любит родину. В жизни такие случаи бывают сплошь и рядом. Кастильоне пленила Наполеона III своей страстной мечтой объединить Италию… Только преображение Миррины надо подать изящно и неожиданно… Но вы в таких сценах не знаете соперников… Ну а насчет связи с Демосфеном я, конечно, пошутила…

– А почему пошутили? Очень многие деятели французской революции…

Успокоенная Клер поспешила утешить Лорана, и роль Миррины, разросшаяся и обогащенная, стала одной из главных ролей пьесы.

Наступил день «генеральной». Это был триумф. «Весь Париж, как Лоран, восхищался Мирриной». Зрители, которые в душе разделяли политические опасения Менетрие и подсознательно тосковали по национальной драматургии в духе эсхиловых «Персов», устроили овацию автору. Критики хвалили писателя за то, что он с таким мастерством осовременил античный сюжет, ни разу не впав в пародию. Даже Фабер, всегда очень придирчивый к своим собратьям, сказал Клер за кулисами несколько любезных слов.

– Вы приложили свою лапку к этой Миррине, прелестная смуглянка, – заметил он с брюзгливым добродушием. – Спору нет – это истая женщина, женщина до мозга костей. Ваш праведный супруг без вашей помощи никогда не додумался бы до такого образа… Признайтесь, Кристиан мало что смыслит в женщинах!..

– Очень рада, что вам нравится Миррина, – сказала Клер. – Но я тут ни при чем.

На другой день Робер Кам в своей рецензии говорил только о Миррине. «Отныне, – утверждал он, – имя Миррины станет таким же нарицательным, как имена Агнесы или Селимены». Клер, через плечо мужа с восторгом читавшая статью, не удержалась и пробормотала:

– Подумать только, не будь этой истории с такси, Миррина никогда не увидела бы света.

Остальное принадлежит истории литературы. Как известно, «Филипп» был переведен на многие языки и положил начало новому французскому театру. Но зато вряд ли кто знает, что в прошлом году, когда Элен Мессьер, бросив Лорана, вышла замуж за голливудского режиссера, великий артист обратился к вдове Кристиана Менетрие, Клер, наследнице авторских прав покойного драматурга, с просьбой вычеркнуть роль Миррины.

– Ведь мы-то с вами знаем, – сказал он, – что эта роль появилась в пьесе случайно, в первом варианте ее не было. Почему бы нам не восстановить старый вариант?.. Это вернуло бы роли Демосфена аскетическую суровость, которая, признаться, мне гораздо больше по сердцу… Кстати, тогда не придется искать новую актрису на роль Миррины… А обойдясь без премьерши, мы сэкономим на ее жалованье.

Однако Клер мягко, но решительно отклонила его просьбу.

– Уверяю вас, Лоран, вы без труда создадите новую Миррину. Вам это хорошо удается… А я не хочу никаких переделок в пьесе моего мужа. Не следует разъединять то, что соединил Кристиан…

И Миррина, дитя необходимости и вдохновения, продолжала свое триумфальное шествие по сценам мира.

Проклятие Золотого тельца

Войдя в нью-йоркский ресторан «Золотая змея», где я был завсегдатаем, я сразу заметил за первым столиком маленького старичка, перед которым лежал большой кровавый бифштекс. По правде говоря, вначале мое внимание привлекло свежее мясо, которое в эти годы было редкостью, но потом меня заинтересовал и сам старик с печальным, тонким лицом. Я сразу почувствовал, что встречал его прежде, не то в Париже, не то где-то еще. Усевшись за столик, я подозвал хозяина, расторопного и ловкого уроженца Перигора, который сумел превратить этот маленький тесный подвальчик в приют гурманов.

– Скажите-ка, господин Робер, кто этот посетитель, который сидит справа от двери? Ведь он француз?

– Который? Тот, что сидит один за столиком? Это господин Борак. Он бывает у нас ежедневно.

– Борак? Промышленник? Ну конечно же, теперь и я узнаю. Но прежде я его ни разу у вас не видел.

– Он обычно приходит раньше всех. Он любит одиночество.

Хозяин наклонился к моему столику и добавил, понизив голос:

– Чудаки они какие-то, он и его жена… Право слово, чудаки. Вот видите, сейчас он завтракает один. А приходите сегодня вечером в семь часов, и вы застанете его жену – она будет обедать тоже одна. Можно подумать, что им тошно глядеть друг на друга. А на самом деле живут душа в душу… Они снимают номер в отеле «Дельмонико»… Понять я их не могу. Загадка, да и только…

– Хозяин! – окликнул гарсон. – Счет на пятнадцатый столик.

Господин Робер отошел, а я продолжал думать о странной чете. Борак…

Ну конечно, я был с ним знаком в Париже. В те годы, между двумя мировыми войнами, он постоянно бывал у драматурга Фабера, который испытывал к нему необъяснимое тяготение; видимо, их объединяла общая мания – надежное помещение капитала и страх потерять нажитые деньги. Борак… Ему, должно быть, теперь лет восемьдесят. Я вспомнил, что около 1923 года он удалился от дел, сколотив капиталец в несколько миллионов. В ту пору его приводило в отчаяние падение франка.

– Безобразие! – возмущался он. – Я сорок лет трудился в поте лица, чтобы кончить дни в нищете. Мало того, что моя рента и облигации больше гроша ломаного не стоят, акции промышленных предприятий тоже перестали подниматься. Деньги тают на глазах. Что будет с нами на старости лет?

– Берите пример с меня, – советовал ему Фабер. – Я обратил все свои деньги в фунты… Это вполне надежная валюта.

Когда года три-четыре спустя я вновь увидел обоих приятелей, они были в смятении. Борак последовал совету Фабера, но после этого Пуанкаре удалось поднять курс франка, и фунт сильно упал. Теперь Борак думал только о том, как уклониться от подоходного налога, который в ту пору начал расти.

– Какой вы ребенок, – твердил ему Фабер. – Послушайте меня… На свете есть одна-единственная незыблемая ценность – золото… Приобрети вы в 1918 году золотые слитки, у вас не оказалось бы явных доходов, никто не облагал бы вас налогами, и были бы вы теперь куда богаче… Обратите все ваши ценности в золото и спите себе спокойно.

Супруги Борак послушались Фабера. Они купили золото, абонировали сейф в банке

и время от времени, млея от восторга, наведывались в этот финансовый храм поклониться своему идолу. Потом я лет на десять потерял их из виду. Встретил я их уже в 1937 году – у торговца картинами в Фобур-Сент-Оноре. Борак держался с грустным достоинством, мадам Борак, маленькая, чистенькая старушка в черном шелковом платье с жабо из кружев, казалась наивной и непосредственной. Борак, конфузясь, попросил у меня совета:

– Вы, дорогой друг, сами человек искусства. Как, по-вашему, можно еще надеяться на то, что импрессионисты снова поднимутся в цене? Не знаете?.. Многие считают это возможным, но ведь их полотна и без того уже сильно подорожали… Эх, приобрести бы мне импрессионистов в начале века… А еще лучше было бы, конечно, узнать наперед, какая школа войдет в моду, и скупить сейчас картины за бесценок. Да вот беда: заранее никто ни за что не может поручиться… Ну и времена! Даже эксперты тут бессильны! Поверите ли, мой дорогой, я их спрашиваю: «На что в ближайшее время поднимутся цены?» А они колеблются, запинаются. Один говорит: на Утрилло, другой – на Пикассо… Но все это слишком уж известные имена.

– Ну а ваше золото? – спросил я его.

– Оно у меня… у меня… Я приобрел еще много новых слитков… Но правительство поговаривает о реквизиции золота, о том, чтобы вскрыть сейфы… Подумать страшно… Я знаю, вы скажете, что самое умное перевести все за границу… Так-то оно так… Но куда? Британское правительство действует так же круто, как наше… Голландия и Швейцария в случае войны подвергаются слишком большой опасности… Остаются Соединенные Штаты, но с тех пор, как там Рузвельт, доллар тоже… И потом придется переехать туда на жительство, чтобы в один прекрасный день мы не оказались отрезанными от наших капиталов…

Не помню уж, что я ему тогда ответил. Меня начала раздражать эта чета, не интересующаяся ничем, кроме своей кубышки, когда вокруг рушилась цивилизация. У выхода из галереи я простился с ними и долго глядел, как эти две благовоспитанные и зловещие фигурки в черном удаляются осторожными мелкими шажками. И вот теперь я встретил Борака в «Золотой змее» на Лексингтон-авеню. Где их застигла война? Каким ветром занесло в Нью-Йорк? Любопытство меня одолело, и, когда Борак поднялся со своего места, я подошел к нему и назвал свое имя.

– О, еще бы, конечно, помню, – сказал он. – Как я рад видеть вас, дорогой мой! Надеюсь, вы окажете нам честь и зайдете на чашку чая. Мы живем в отеле «Дельмонико». Жена будет счастлива… Мы здесь очень скучаем, ведь ни она, ни я не знаем английского…

– И вы постоянно живете в Америке?

– У нас нет другого выхода, – ответил он. – Приходите, я вам все объясню. Завтра к пяти часам.

Я принял приглашение и явился точно в назначенное время. Мадам Борак была в том же черном шелковом платье с белым кружевным жабо, что и в 1923 году, и с великолепными жемчугами на шее. Она показалась мне очень удрученной.

– Мне так скучно, – пожаловалась она. – Мы заперты в этих двух комнатах, поблизости ни одной знакомой души… Вот уж не думала я, что придется доживать свой век в изгнании.

– Но кто же вас принуждает к этому, мадам? – спросил я. – Насколько мне известно, у вас нет особых личных причин бояться немцев. То есть я, конечно, понимаю, что вы не хотели жить под их властью, но пойти на добровольное изгнание, уехать в страну, языка которой вы не знаете…

– Что вы, немцы тут ни при чем, – сказала она. – Мы приехали сюда задолго до войны.

Ее муж встал, открыл дверь в коридор и, убедившись, что нас никто не подслушивает, запер ее на ключ, возвратился и шепотом сказал:

– Я вам все объясню. Я уверен, что на вашу скромность можно положиться, а дружеский совет пришелся бы нам как нельзя кстати. У меня здесь, правда, есть свой адвокат, но вы меня лучше поймете… Видите ли… Не знаю, помните ли вы, что после прихода к власти Народного фронта мы сочли опасным хранить золото во французском банке и нашли тайный надежный способ переправить его в Соединенные Штаты. Само собой разумеется, мы и сами решили сюда перебраться. Не могли же мы бросить свое золото на произвол судьбы… Словом, тут и объяснять нечего… Однако в 1938 году мы обратили золото в бумажные доллары. Мы считали (и оказались правы), что в Америке девальвации больше не будет, да вдобавок кое-кто из осведомленных людей сообщил нам, что новые геологические изыскания русских понизят курс золота… Тут-то и возник вопрос: как хранить наши деньги? Открыть счет в банке? Обратить их в ценные бумаги? В акции?.. Если бы мы купили американские ценные бумаги, пришлось бы платить подоходный налог, а он здесь очень велик… Поэтому мы все оставили в бумажных долларах.

Я, не выдержав, перебил его:

– Стало быть, для того чтобы не платить пятидесятипроцентного налога, вы добровольно обложили себя налогом стопроцентным?

– Тут были и другие причины, – продолжал он еще более таинственным тоном. – Мы чувствовали, что приближается война, и боялись, как бы правительство не заморозило банковские счета и не вскрыло сейфы, тем более что у нас нет американского гражданства… Вот мы и решили всегда хранить наши деньги при себе.

– То есть как «при себе»? – воскликнул я. – Здесь, в отеле?

Оба кивнули головой, изобразив какое-то подобие улыбки, и обменялись взглядом, полным лукавого самодовольства.

– Да, – продолжал он еле слышно. – Здесь, в отеле. Мы сложили все – и доллары, и немного золота – в большой чемодан. Он здесь, в нашей спальне.

Борак встал, открыл дверь в смежную комнату и, подведя меня к порогу, показал ничем не примечательный с виду черный чемодан.

– Вот он, – шепнул Борак и почти благоговейно прикрыл дверь.

– А вы не боитесь, что кто-нибудь проведает об этом чемодане с сокровищами? Подумайте, какой соблазн для воров!

– Нет, – сказал он. – Во-первых, о чемодане не знает никто, кроме нашего адвоката… и вас, а вам я всецело доверяю… Нет уж, поверьте мне, мы все обдумали. Чемодан никогда не привлекает такого внимания, как, скажем, кофр. Никому не придет в голову, что в нем хранится целое состояние. Да вдобавок мы оба сторожим эту комнату и днем и ночью.

– И вы никогда не выходите?

– Вместе никогда! У нас есть револьвер, мы держим его в ящике комода, по соседству с чемоданом, и один из нас всегда дежурит в номере… Я хожу завтракать во французский ресторан, где мы с вами встретились. Жена там обедает. И чемодан никогда не остается без присмотра. Понимаете?

– Нет, дорогой господин Борак, не понимаю, не могу понять, ради чего вы обрекли себя на эту жалкую жизнь, на это мучительное затворничество… Налоги? Да черт с ними! Разве ваших денег не хватит вам с лихвой до конца жизни?

– Не в этом дело, – ответил он. – Не хочу я отдавать другим то, что нажил с таким

трудом.

Я попытался переменить тему разговора. Борак был человек образованный, он знал историю; я попробовал было напомнить ему о коллекции автографов, которую он когда-то собирал, но его жена, еще сильнее мужа одержимая навязчивой идеей, вновь вернулась к единственному волновавшему ее предмету.

– Я боюсь одного человека, – шепотом сказала она. – Это немец, метрдотель, который приносит нам в номер утренний завтрак. Он иногда так поглядывает на эту дверь, что внушает мне подозрение. Правда, в эти часы мы оба бываем дома, поэтому я надеюсь, что опасность не так уж велика.

Другой их заботой была собака. Красивый пудель, на редкость смышленый, всегда лежал в углу гостиной, но трижды в день его надо было выводить гулять. Эту обязанность супруги также выполняли по очереди. Я ушел от них вне себя: меня бесило упорство этих маньяков, и в то же время их одержимость чем-то притягивала меня.

С тех пор я часто уходил со службы пораньше, чтобы ровно в семь часов попасть в «Золотую змею». Тут я подсаживался к столику мадам Борак. Она была словоохотливее мужа и более простодушно поверяла мне свои тревоги и планы.

– Эжен – человек редкого ума, – сказала она мне однажды вечером. – Он всегда все предусматривает. Нынче ночью ему пришло в голову: а что, если они вдруг возьмут да прикажут обменять деньги для борьбы с тезаврацией? Как тогда быть? Ведь нам придется предъявить наши доллары.

– Ну и что за беда?

– Очень даже большая беда, – ответила мадам Борак. – Ведь в 1943 году, когда американское казначейство объявило перепись имущества эмигрантов, мы ничего не предъявили… А теперь у нас могут быть серьезные неприятности… Но у Эжена зародился новый план. Говорят, что в некоторых республиках Южной Америки вообще нет подоходного налога. Если бы нам удалось переправить туда наши деньги…

– Но как же их переправить без предъявления на таможне?

– Эжен считает, что сначала надо принять гражданство той страны, куда мы решим переселиться. Если мы станем, например, уругвайцами, то по закону сможем перевезти деньги.

Идея эта так меня восхитила, что на другой день я пришел в ресторан к завтраку. Борак всегда радовался моему приходу.

– Милости прошу, – приветствовал он меня. – Вы пришли как нельзя более кстати: мне нужно навести у вас кое-какие справки. Не знаете ли вы, какие формальности необходимы, чтобы стать гражданином Венесуэлы?

– Ей-богу, не знаю, – сказал я.

– А Колумбии?

– Понятия не имею. Лучше всего обратитесь в консульства этих государств.

– В консульства! Да вы с ума сошли!.. Чтобы привлечь внимание?

Он с отвращением отодвинул тарелку с жареным цыпленком и вздохнул:

– Что за времена! Подумать только, что, родись мы в 1830 году, мы прожили бы свою жизнь спокойно, не зная налоговой инквизиции и не боясь, что нас ограбят! А нынче что ни страна – то разбойник с большой дороги… Даже Англия… Я там припрятал несколько картин и гобеленов и теперь хотел их перевезти сюда. Знаете, чего они от меня потребовали? Платы за право вывоза в размере ста

процентов стоимости, а ведь это равносильно конфискации. Ну прямо грабеж среди бела дня, настоящий грабеж…

Вскоре после этого мне пришлось уехать по делам в Калифорнию, так и не узнав, кем в конце концов стали Бораки – уругвайцами, венесуэльцами или колумбийцами. Вернувшись через год в Нью-Йорк, я спросил о них хозяина «Золотой змеи» господина Робера.

– Как поживают Бораки? По-прежнему ходят к вам?

– Что вы, – ответил он. – Разве вы не знаете? Она в прошлом месяце умерла, кажется, от разрыва сердца, и с того дня я не видел мужа. Должно быть, захворал с горя.

Но я подумал, что причина исчезновения Борака совсем в другом. Я написал старику несколько слов, выразив ему соболезнование, и попросил разрешения его навестить. На другой день он позвонил мне по телефону и пригласил зайти. Он осунулся, побледнел, губы стали совсем бескровные, голос еле слышен.

– Я только вчера узнал о постигшем вас несчастье, – сказал я, – не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, ведь я догадываюсь, что ваша горестная утрата, помимо всего прочего, донельзя усложнила вашу жизнь.

– Нет, нет, нисколько… – ответил он. – Я просто решил больше не отлучаться из дому… Другого выхода у меня нет. Оставить чемодан я боюсь, а доверить мне его некому… Поэтому я распорядился, чтобы еду мне приносили сюда, прямо в комнату.

– Но ведь вам, наверное, в тягость такое полное затворничество?

– Нет, нет, ничуть… Ко всему привыкаешь… Я гляжу из окна на прохожих, на машины… И потом, знаете, при этом образе жизни я наконец изведал чувство полной безопасности… Прежде я, бывало, выходил завтракать и целый час не знал покоя: все думал, не случилось ли чего в мое отсутствие… Конечно, дома оставалась моя бедная жена, но я представить себе не мог, как она справится с револьвером, особенно при ее больном сердце… А теперь я держу дверь приоткрытой, и чемодан всегда у меня на глазах… Стало быть, все, чем я дорожу, всегда со мной… А это вознаграждает меня за многие лишения… Вот только Фердинанда жалко.

Пудель, услышав свое имя, подошел и, усевшись у ног хозяина, бросил на него вопросительный взгляд.

– Вот видите, сам я теперь не могу его выводить, но зато я нанял рассыльного – bell-boy, как их здесь называют… Не пойму, почему они не могут называть их «рассыльными», как все люди? Ей-богу, они меня с ума сведут своим английским! Так вот, я нанял мальчишку, и тот за небольшую плату выводит Фердинанда на прогулку… Стало быть, и эта проблема решена… Очень вам признателен, мой друг, за вашу готовность помочь мне, но мне ничего не надо, спасибо.

– А в Южную Америку вы раздумали ехать?

– Конечно, друг мой, конечно… Что мне там теперь делать? Вашингтон больше не говорит об обмене денег, а в мои годы…

Он и в самом деле сильно постарел, а образ жизни, который он вел, вряд ли шел ему на пользу. Румянец исчез с его щек, и говорил он с трудом.

«Можно ли вообще причислить его к живым?» – подумал я.

Убедившись, что ничем не могу ему помочь, я откланялся. Я решил изредка навещать его, но через несколько дней, раскрыв «Нью-Йорк таймс», сразу обратил внимание на заголовок: «Смерть французского эмигранта. Чемодан, набитый

долларами!» Я пробежал заметку: в самом деле, речь шла о моем Бораке. Утром его нашли мертвым: он лежал на черном чемодане, накрывшись одеялом. Умер он естественной смертью, и все его сокровища были в целости и сохранности. Я зашел в отель «Дельмонико», чтобы разузнать о дне похорон. У служащего справочного бюро я спросил, что сталось с Фердинандом.

– Кому отдали пуделя господина Борака?

– Никто его не востребовал, – ответил тот. – И мы отправили его на живодерню.

– А деньги?

– Если не объявятся наследники, они перейдут в собственность американского правительства.

– Что ж, прекрасный конец, – сказал я.

При этом я имел в виду судьбу денег.

Завещание

Замок маркизов де Шардейль был приобретен крупным промышленником, которого болезни и возраст вынудили уйти на покой и поселиться в деревне. Вскоре весь Перигор только и говорил о том, с какой роскошью и вкусом восстановлен этот уголок, покинутый прежними владельцами более сотни лет назад. В особенности восхищались парком. Выписанный из Парижа архитектор и планировщик, построив запруду на реке Лу, создал искусственное озеро и превратил Шардейль в новый Версаль.

В Перигоре, бедной сельской провинции, где большинство владельцев поместий по примеру Савиньяков используют свою землю под огороды, очень мало красивых садов. Цветники Шардейля вызвали оживленные толки в Бриве, Перигё и даже в самом Бордо. Однако когда работы, продолжавшиеся целый год, пришли к концу и новые хозяева въехали в свое поместье, гостей, поспешивших нанести им визит, оказалось гораздо меньше, чем можно было ожидать. В Перигоре к чужакам относятся недоверчиво, а ведь никто толком не знал, что за особа эта госпожа Бернен.

На вид ей было никак не больше тридцати пяти лет, а мужу самое малое шестьдесят пять. Она была довольно привлекательна и даже в деревенском уединении меняла туалеты по три раза в день. Это насторожило соседей, и они решили, что она не жена, а любовница Бернена. Правда, госпожа де ла Гишарди, первая дама Перигора, которая, хотя и обосновалась с начала войны в провинции, по-прежнему знала парижский свет как свои пять пальцев, подтвердила, что госпожа Бернен – законная жена Бернена и происходит из скромной, но добропорядочной буржуазной семьи; злым языкам пришлось умолкнуть, ибо в подобном вопросе никто не осмеливался перечить могущественной и осведомленной госпоже де ла Гишарди. Однако кое-кто все же тайком продолжал еретически утверждать, будто госпожа Бернен, даже если она и носит имя Бернена, – всего-навсего бывшая его любовница, на которой он женился в преклонном возрасте.

Гастон и Валентина Ромильи, владельцы поместья Прейсак, с холмов которого видны башни Шардейля, решили, что уж кому-кому, а им, ближайшим соседям Берненов, нет никакого резона чваниться перед приезжими, вдобавок чета Бернен оставила свои визитные карточки в Прейсаке, да и госпожа де ла Гишарди подала пример милостивого отношения к новым хозяевам усадьбы. Короче, Ромильи явились в Шардейль с ответным визитом.

Их приняли с тем большим радушием, что они были одни из первых гостей. Хозяева уговорили супругов Ромильи остаться к чаю и любезно предложили им осмотреть дом, парк и службы. Гастон и Валентина почувствовали, что Бернены уже начинают тяготиться тем, что, владея всем этим великолепием, лишены возможности похвалиться им перед соседями.

Бернен, привыкший полновластно распоряжаться на своем заводе, и поныне сохранил повелительный голос и манеру не допускающим возражения тоном высказываться о предметах, о которых не имел ни малейшего понятия, и все же он производил впечатление добряка. Валентину растрогала любовь, которую он выказывал жене, маленькой пухленькой блондинке, нежной и веселой. Однако гостью покоробили слова, услышанные от госпожи Бернен, когда, осматривая второй этаж и восторгаясь тем, как неузнаваемо преобразился замок в такой короткий срок, она похвалила ванные комнаты, размещенные в толще старых стен, в нишах, и лифты, устроенные в башнях.

– Да, – сказала госпожа Бернен, – Адольф хотел, чтобы в Шардейле все было образцовым… Правда, пока здешний замок для нас всего лишь загородный дом, но Адольф знает, что, когда он умрет – надеюсь, конечно, что это случится не скоро, – я поселюсь именно здесь, и хочет, чтобы в деревне меня окружал такой же комфорт, как в городе… Может быть, вы слышали, у Адольфа от первого брака

много детей… Вот он и принял меры предосторожности: Шардейль куплен на мое имя и полностью принадлежит мне.

На лугу неподалеку от замка строения бывшей фермы были переоборудованы под конюшни. Гастон восхитился красотой лошадей, великолепием упряжи, выправкой конюхов.

– Лошади – мое любимое развлечение, – оживленно сказала госпожа Бернен. – Мой отец служил в кирасирах и с колыбели приучал нас к седлу.

Она потрепала по холке великолепного коня и со вздохом добавила:

– Правда, содержание конюшни обходится очень дорого… Но Адольф и об этом позаботился. В завещании предусмотрены специальные средства для конного завода на территории парка Шардейль… И все это помимо моей доли наследства, не правда ли, Адольф? Таким образом, понимаете, мне не придется платить лишних налогов.

Разбивка парка еще не была завершена, но уже можно было угадать общий рисунок цветника. В местах, к которым архитектор желал привлечь взгляды гуляющих, стояли прекрасные статуи. Посредине продолговатого бассейна на искусственном островке из железобетона рабочие возводили романтическую колоннаду. Хозяева и гости вступили в длинную каштановую аллею. Она обрывалась у группы маленьких строений в стиле перигорских ферм, крытых старой черепицей.

– А я и не знала, что здесь деревня, – заметила Валентина.

– Это вовсе не деревня, – смеясь, пояснила госпожа Бернен, – здесь живут слуги. Адольф надумал поселить их в отдельных домиках. Правда, мило? Это сыграет мне на руку… в будущем, конечно… Среди нашей прислуги есть несколько супружеских пар – люди очень преданные, и я хотела бы удержать их у себя, даже когда овдовею… Ну так вот, Адольф откажет каждой семье домик, в котором она живет, оговорив в особом пункте, что право на владение аннулируется в случае, если слуга от меня уходит… Таким образом, мои люди не только будут связаны со мной, но и частично вознаграждены за свой труд, причем мне это не будет стоить ни гроша. Так что я могу ни о чем не беспокоиться. Все это, конечно, тоже не считая доли в наследстве… И дети Адольфа ни к чему не смогут придраться.

– Вы уверены, мадам? Разве это по закону? – спросил Гастон Ромильи.

– Ах, господин Ромильи, вы не знаете Адольфа… Он несколько часов кряду просидел со своим адвокатом, изыскивая наилучшую форму для завещания. Вы и представить себе не можете, как он внимателен ко мне, несмотря на свои медвежьи манеры. Правда, Адольф?

Она взяла старика под руку, и тот что-то нежно проворчал. Прогулка затянулась, потому что гостей заставили осмотреть и образцовую молочную ферму, и птичий двор, где кудахтали сотни белоснежных кур какой-то особенно редкой породы. Когда супруги Ромильи наконец очутились одни в своей машине, Валентина спросила:

– Как тебе понравилась эта пара, Гастон?

– Бернен мне понравился, – ответил муж. – Он грубоват, самодоволен, но, думаю, в глубине души он добрый малый… А она какая-то чудачка…

– Чудачка? – переспросила Валентина. – По-моему, она просто дрянь… На каждом слове – завещание да завещание… «Когда я овдовею… надеюсь, конечно, не скоро…» Обсуждать в присутствии этого бедняги все, что случится после его смерти! Я просто места себе не находила, не знала, что сказать…

Они долго молчали, а машина мчалась через окутанные мглой луга и заросшие

тополями долины. Гастон, сидевший за рулем, не спускал глаз с дороги, на которую то и дело выбегали дети, возвращавшиеся из школы. Наконец он сказал:

– А знаешь… Вообще-то говоря, он поступил разумно, приняв меры предосторожности. После его смерти жена будет застрахована от всех превратностей… Я его слушал, а сам думал о нас… Напрасно я не составил завещания. Надо будет этим заняться.

– Господь с тобой, милый… Не пугай меня… Во-первых, я умру раньше…

– Почему? Кто может знать наперед… Ты моложе меня. Ты здорова. А я…

– Молчи… Ты просто мнителен, ты совершенно здоров… К тому же, если ты умрешь, я тебя не переживу… Разве я смогу жить без тебя… Я покончу с собой…

– Как тебе не стыдно, Валентина! Что за вздор? Ты прекрасно знаешь, никто еще не умирал от вдовства, как бы оно ни было горько… И потом, кроме меня, у тебя есть Колетт, ее муж… внуки.

– У Колетт своя жизнь… Мы ей больше не нужны.

– Что правда, то правда… Тем более я должен принять меры, чтобы тебя обеспечить…

Они снова замолчали, потому что машина въехала в полосу более густого тумана, но вот Валентина заговорила еле слышно:

– Конечно, если моя злая судьба захочет, чтобы я пережила тебя на несколько месяцев, я буду спокойней, если у меня… О нет, только не завещание… Мне бы чудилось в нем дурное предзнаменование… Ни в коем случае… Просто бумага, где было бы оговорено, что Прейсак со всеми его угодьями остается в моем полном пожизненном владении. Наш зять очень мил, но он из рода Савиньяков… Он пошел в отца… Любит землю… Он, пожалуй, способен округлить свои земли за счет моих, а меня отправит доживать век в каком-нибудь жалком домишке подальше от этих мест… Мне было бы очень больно…

– Это надо предотвратить… – сказал Гастон, слегка помрачнев. – Я готов подписать любую бумагу и, если хочешь, даже завещать тебе Прейсак… Но только законно ли это? Не превышает ли стоимость Прейсака размера твоей доли наследства?

– Немного превышает, но все легко уладить, – сказала Валентина. – Если только ты пожелаешь.

– Как? – спросил он. – Разве ты уже советовалась с нотариусом?

– О нет, что ты! Как-то случайно, – ответила Валентина.

Собор

В 18… году у витрины торговца картинами на улице Сент-Онорэ остановился студент. В витрине была выставлена картина Мане «Шартрский собор». В те времена работами Мане восхищались лишь немногие любители живописи, но у студента был хороший вкус: прекрасная картина привела его в восторг. Он чуть не каждый день приходил к этой лавке – взглянуть на картину. Наконец он решился войти в магазин – узнать цену.

– Что ж, – ответил продавец, – картина уже давно висит здесь. За две тысячи франков я, пожалуй, уступлю ее вам.

Студент не располагал такой суммой, но его семья, жившая в провинции, была не лишена достатка. Когда он уезжал в Париж, дядя сказал ему: «Я знаю, какую жизнь ведут молодые люди в столице. Если тебе дозарезу понадобятся деньги, напиши мне». Студент просил торговца не продавать картину в течение недели и написал дяде.

У нашего героя была в Париже любовница. Будучи замужем за человеком намного старше ее, она томилась скукой. Была она немного вульгарна, довольно глупа, но очень хороша собой. В тот самый вечер, когда студент справлялся о цене «Собора», любовница сказала ему:

– Завтра я жду к себе в гости подругу по пансиону. Она приедет из Тулона, чтобы повидаться со мной. Мужу нас развлекать некогда – вся надежда на вас.

Подруга приехала на следующий день и привезла с собой свою приятельницу. Несколько дней подряд студенту пришлось возить трех дам по Парижу. Он платил за все – за обеды, фиакр, театр – и довольно быстро истратил деньги, на которые должен был жить целый месяц. Он занял у приятеля и уже начал тревожиться, как быть дальше, когда пришло письмо от дядюшки. В нем было две тысячи франков. Студент вздохнул с облегчением. Он уплатил долги и сделал подарок любовнице. А «Собор» купил коллекционер, который спустя много лет передал свои картины в Лувр.

Сейчас тот студент – старый знаменитый писатель. Но сердце его осталось молодым. Он по-прежнему в восхищении застывает на месте при виде прекрасного пейзажа или красивой женщины. Часто, выйдя из дому, он встречает на улице пожилую даму, живущую по соседству. Эта дама – его бывшая любовница. Лицо ее заплыло жиром, под глазами, когда-то столь прекрасными, набухли мешки, над верхней губой торчат седые волоски. Она с трудом передвигается – видно, дряблые ноги плохо слушаются ее. Писатель раскланивается с ней и, не задерживаясь, спешит дальше, ему хорошо известен ее злобный нрав и неприятно вспоминать, что когда-то он любил ее.

Иногда он заходит в Лувр и поднимается в зал, где висит «Собор». Он долго смотрит на картину и вздыхает.

Муравьи

Между двумя стеклянными пластинками, скрепленными приклеенной по краям бумагой, суетилось и хлопотало целое племя крошечных коричневых уродцев. Продавец насыпал муравьям немного песку, и они прорыли в нем ходы, которые все сходились в одной точке. Там – в самой середине – почти неподвижно восседала крупная муравьиха. Это была Королева – муравьи почтительно кормили ее.

– С ними нет никаких хлопот, – сказал продавец. – Достаточно раз в месяц положить каплю меду вон в то отверстие… Одну-единственную каплю… А уж муравьи сами унесут мед и разделят между собой…

– Всего одну каплю в месяц? – удивилась молодая женщина. – Неужто хватит одной капли, чтобы прокормить весь этот народец?

На молодой женщине была большая шляпа из белой соломки и муслиновое платье в цветах, без рукавов. Продавец грустно посмотрел на нее.

– Одной капли вполне хватит, – повторил он.

– Как это мило! – воскликнула молодая женщина.

И купила прозрачный муравейник.

– Друг мой, вы еще не видели моих муравьев?

Белоснежная ручка с наманикюренными пальчиками держала стеклянный муравейник. Мужчина, сидевший рядом с молодой женщиной, залюбовался ее склоненным затылком.

– Как с вами интересно, дорогая… Вы умеете вносить в жизнь новизну и разнообразие… Вчера вечером мы слушали Баха… Сегодня… наблюдаем за муравьями…

– Взгляните, дорогой! – сказала она с ребячливой порывистостью, которая – она это знала – ему так нравилась. – Видите вон ту громадную муравьиху? Это Королева… Работницы прислуживают ей… Я сама их кормлю… И поверите ли, милый, им хватает одной капли меду в месяц… Разве это не прелестно?

Прошла неделя – муравьи за это время успели надоесть и мужу, и любовнику. Молодая женщина сунула муравейник за зеркало, стоявшее на камине в ее комнате. В конце месяца она забыла положить в отверстие каплю меду. Муравьи умерли медленной голодной смертью. До самого конца они берегли немного меду для Королевы, и она погибла последней.

Ярмарка в Нейи

– Бонниве был всего пятью-шестью годами старше меня, – начал Мофра, – но он сделал такую блестящую, молниеносную карьеру, что я привык видеть в нем скорее покровителя, чем друга. Я был многим обязан ему. Когда его назначили министром общественных работ, он определил меня в свою канцелярию, а когда кабинет пал, мгновенно пристроил в префектуру.

Вернувшись к власти, он взял себе портфель министра колоний. В ту пору я был неплохо устроен в Париже и просил Бонниве оставить меня на этом месте. Мы по-прежнему были дружны и часто встречались в семейном кругу – то у него, то у меня дома. Бонниве обожал свою жену Нелли, женщину лет сорока, все еще миловидную и словно созданную для роли супруги министра. Я был женат уже десять лет, и, как вы знаете, мы с Мадлен жили душа в душу.

Как-то в начале июня супруги Бонниве пригласили нас пообедать в одном из ресторанов Булонского леса. Нас было шесть человек, мы очень мило провели время, и к полуночи нам еще не хотелось расходиться. Бонниве, который был в ударе, предложил отправиться на ярмарку в Нейи. Когда Бонниве сидит в министерском кресле, он любит разыгрывать Гарун-аль-Рашида и слышать, как толпа провожает его шепотом: «Глядите, Бонниве!»

Три немолодые супружеские пары, которые тщетно пытаются обрести в ребяческих забавах очарование далекого детства, являют взору довольно печальное зрелище. Мы выиграли в различных лотереях макароны, стеклянные кораблики и пряничных зверей. Потом мужская часть нашей компании сбивала в тире вращающиеся трубки и яичную скорлупу, которую подбрасывали вверх вялые струйки воды. Наконец мы добрались до ярмарочной железной дороги, рельсы которой, сделав два-три круга под открытым небом, исчезали в туннеле. Нелли Бонниве предложила прокатиться в поезде. Моей жене затея эта пришлась не очень по душе и сиденья показались недостаточно чистыми, но она не хотела нарушать компанию, и мы купили билеты. В толчее на платформе толпа нас разъединила, и мы с Нелли Бонниве оказались наедине в двухместном купе.

Маленький поезд мчался с большой скоростью, а зигзаги дорожного полотна были умышленно расположены так, чтобы пассажиры то и дело падали друг на друга. На первом же повороте Нелли Бонниве едва не очутилась в моих объятиях. В эту минуту поезд нырнул во мрак туннеля, и то, что совершилось в следующие несколько секунд, я сам не могу объяснить. Наши поступки иногда не подвластны контролю сознания. Как бы там ни было, я вдруг почувствовал, что Нелли полулежит у меня на коленях, и стал ее ласкать, как двадцатилетний солдат ласкает девчонку, которую привел на деревенскую ярмарку. Не сознавая, что делаю, я искал ее губы, и в тот момент, когда, не встретив сопротивления, я прижался к ним, вспыхнул свет. Словно по уговору, мы отпрянули в разные стороны и растерянно, в полном изумлении уставились друг на друга.

Помню, что я пытался разгадать выражение лица Нелли Бонниве. Она приводила в порядок прическу и молча, без улыбки глядела на меня. Наше взаимное замешательство длилось недолго. Поезд уже тормозил, и через минуту мы оказались на платформе, где нас ждали Бонниве, Мадлен и двое других наших спутников.

– Пожалуй, мы и впрямь уже стары для таких забав, – со скукой в голосе заметил Бонниве, – не пора ли по домам?

Мадлен его поддержала, мы добрались до Порт-Майо и тут расстались. Целуя руку Нелли, я пытался поймать ее взгляд. Она беспечно болтала с Мадлен и ушла, не подав мне никакого знака.

Я не мог уснуть. Неожиданное приключение нарушило безупречную размеренность моей жизни. Я никогда не был бабником, а с той поры, как женился

на Мадлен, и подавно не испытывал к этому ни малейшей склонности. Я от всего сердца любил жену, и между нами царило полное взаимное доверие. К Бонниве я питал самые дружеские чувства и искреннюю признательность. Но несмотря на все это, словно какой-то бес подзуживал меня: мне хотелось поскорее увидеть Нелли и понять, что было в ее взгляде после той минуты самозабвения. Удивление? Гнев? Вы ведь знаете, какая самонадеянность таится в глубине души даже самого скромного мужчины. Мое воображение уже рисовало мне давнюю затаенную страсть, которая открылась внезапно, по прихоти случая. Рядом со мной на соседней постели мерно дышала во сне Мадлен.

На другой день в служебной суете мне некогда было вспоминать об удивительном происшествии. А на третий день меня позвали к телефону.

– Вас спрашивают из министерства колоний, – сказал голос в трубке. – Ждите у телефона. С вами будет говорить министр. Минутку.

У меня упало сердце. Бонниве никогда не звонил мне сам. Все приглашения и ответы на них обычно передавались через жен. Не было никаких сомнений, что на сей раз речь идет об этом дурацком приключении на железной дороге.

– Алло! – услышал я вдруг голос Бонниве. – Это вы, Мофра? Вы не можете сию же минуту приехать ко мне в министерство?.. Да, безотлагательно… Я объясню вам при личной встрече. Хорошо, жду!

Я повесил трубку… Итак, Нелли принадлежит к той гнусной породе женщин, которые сначала искушают мужчин (я могу поклясться, что она сама в тот вечер упала в мои объятия), а потом жалуются мужьям: «Знаешь, ты напрасно так веришь Бернару… Он совсем не такой преданный друг, как ты полагаешь!..» О, мерзкие твари!

Пока я искал такси, чтобы ехать к Бонниве, я неотступно думал, что меня ждет. Дуэль? Я ничего не имел против, по крайней мере это самое простое решение вопроса, но со времени войны никто на дуэли не дерется. Скорее всего Бонниве станет осыпать меня упреками и даст понять, что между нами все кончено. А это конец не только очень ценной для меня дружбы, но и, без сомнения, конец моей карьеры, потому что Бонниве – человек весьма влиятельный. Все прочат ему в недалеком будущем пост премьера… А как я смогу объяснить этот непонятный разрыв моей жене?

Такие мрачные мысли и даже еще похуже теснились в моем мозгу, пока я ехал в министерство. Дело дошло до того, что я начал понимать несчастных, которые, не имея мужества вынести свое отчаянное положение, ищут выхода в самоубийстве.

Мне пришлось некоторое время подождать в приемной, заполненной посетителями и секретарями. Мое сердце учащенно билось. Я пытался сосредоточиться на фреске, изображающей аннамитов, занятых сбором урожая. Наконец секретарь назвал мое имя. Я встал. Передо мной была дверь кабинета министра. Как быть – дать ему высказаться или предвосхитить его упреки чистосердечной исповедью?

Бонниве поднялся мне навстречу и крепко пожал руку. Я был ошарашен его сердечностью. Должно быть, у него хватило ума понять, насколько случайным и неумышленным было нелепое происшествие.

– Прежде всего, – сказал Бонниве, – извините, что я так срочно вызвал вас, но сейчас вы сами поймете, что решение надо принимать немедленно. Дело в следующем… Мы с Нелли в будущем месяце должны совершить длительную поездку по Западной Африке… Я еду с целью инспекции, она – ради туризма и новых впечатлений. Я решил взять с собой не только министерских служащих, но и нескольких журналистов, ибо пора наконец французам познакомиться со своими владениями… Собственно говоря, я не собирался приглашать вас в эту поездку, так как вы не чиновник нашего министерства, не журналист и к тому же у вас свои служебные обязанности. Но вчера вечером Нелли сказала мне, что наше

путешествие по времени почти совпадает с вашим отпуском, а ей гораздо приятнее и интереснее проводить досуг с вами и вашей женой, чем с нашими официальными спутниками. Вот она и подумала, не соблазнит ли вас редкая возможность увидеть Западную Африку при таких благоприятных обстоятельствах... Словом, если вы согласны, мы включим вас в список участников поездки... Но ответ мне нужен немедленно, потому что моя канцелярия заканчивает составление маршрута и списков.

Я поблагодарил его и попросил несколько часов отсрочки, чтобы посоветоваться с женой. Вначале я едва не согласился. Но, оставшись наедине с собой, я вдруг представил себе всю неловкость и низость этой полулюбовной интрижки, которую придется вести на глазах проницательной Мадлен, да еще будучи гостем Бонниве. Нелли была весьма привлекательна, но я ее строго осуждал. За завтраком я рассказал Мадлен о предложении Бонниве, разумеется, не обмолвившись ни словом о его причинах, и мы вместе стали обдумывать, как бы нам повежливее от него отказаться. Мадлен без труда сочинила какие-то давние обязательства, и мы в Африку не поехали.

Я знаю, что с тех самых пор Нелли Бонниве отзывается обо мне не только с иронией, но даже с некоторой неприязнью. Наш друг Ламбер-Леклерк как-то упомянул обо мне как о возможном кандидате на пост префекта департамента Сены. Она скорчила презрительную гримаску.

– Мофра! – сказала она. – Упаси бог! Он очень мил, но совершенно лишен инициативы. Он сам не знает, чего хочет.

– Нелли права, – отозвался Бонниве.

И я не получил префектуры.

Добрый вечер, милочка…

– Ты куда, Антуан? – спросила мужа Франсуаза Кене.

– На почту. Хочу послать заказное письмо, а заодно вывести Маугли… Дождь перестал, небо над Ментоной уже очистилось – погода явно разгуливается.

– Постарайся не задерживаться. Я пригласила к обеду Сабину Ламбер-Леклерк с мужем… Ну да, я прочитала в «Эклерере», что они приехали в Ниццу на несколько дней… Вот я и написала Сабине…

– О, Франсуаза, зачем ты это сделала? Политика, которую проводит ее муж, вызывает одно отвращение, сама же Сабина…

– Не ворчи, Антуан… И не вздумай уверять, будто Сабина тебе противна!.. Когда мы с тобой познакомились, она слыла чуть ли не твоей невестой!

– В том-то и дело!.. Не думаю, чтобы она мне простила, что я женился на тебе… К тому же я не видел ее лет пятнадцать… Надо полагать, она превратилась в зрелую матрону…

– Никакая она не матрона, – сказала Франсуаза. – Она лишь на три года старше меня… И все равно спорить сейчас уже бесполезно… Сабина с мужем будут здесь в восемь часов вечера.

– Ты могла бы посоветоваться со мной… Ну зачем ты позвала их? Ведь ты знала, что я буду недоволен…

– Счастливой прогулки! – весело бросила Франсуаза и поспешно вышла из комнаты.

Антуан пожалел, что ссора не состоялась. Уж такова была обычная тактика его жены – она всегда уклонялась от споров. Шагая по аллеям Антибского мыса, между рядами нескладных кособоких сосен, он думал: «Франсуаза становится несносной. Она отлично знала, что я не хочу встречаться с этой четой… Именно поэтому она ничего не сказала мне о своих планах… Она все чаще ставит меня перед свершившимся фактом. Ну зачем она пригласила Сабину Ламбер-Леклерк?.. Только потому, что скучает, не видясь ни с кем, кроме меня и детей. Да, но кто захотел поселиться в этом краю? Кто уговорил меня покинуть Пон-де-л’Эр, бросить дела, родных и в расцвете сил уйти в отставку, к которой я совсем не стремился?»

Всякий раз, когда он начинал вспоминать свои обиды, список их оказывался довольно длинным. Антуан женился по страстной любви, его до сих пор влекло к жене и как мужчину, и, можно сказать, как художника. Он часами не отрываясь разглядывал ее изящный носик, светлые лукавые глаза, безупречные черты лица. Но до чего же иногда она раздражала его! В выборе мебели, платьев, цветов Франсуаза выказывала замечательный вкус. Но в отношениях с людьми ей не хватало такта. Антуан глубоко страдал, когда Франсуаза оскорбляла кого-нибудь из их друзей. Он чувствовал и свою ответственность за нанесенную обиду, и свое бессилие. Вначале он осыпал ее упреками, которые она выслушивала с неудовольствием и на которые не обращала внимания, зная, что он простит ее ночью, когда в нем проснется желание. Потом он стал принимать ее такой, какой она была. После десяти лет совместной жизни он понял, что ее не переделаешь.

– Маугли, сюда!

Антуан зашел в почтовое отделение… На обратном пути он продолжал размышлять о Франсуазе и с каждой минутой все больше мрачнел. Была ли она по крайней мере ему верна? Он верил этому, хотя знал, что она часто ведет себя как отчаянная кокетка и порой даже забывает о благоразумии. Был бы он счастливее с Сабиной? Он вспомнил сад в Пон-де-л’Эр, где юношей встречался с ней. Весь город считал их помолвленными, да и сами они не сомневались, что рано или поздно

поженятся, хотя никогда об этом не говорили.

«У нее был на редкость пылкий темперамент», – подумал он, вспомнив, как Сабина прижималась к нему во время танцев.

Она была первой девушкой, с которой он вел себя смело, чувствуя, что не встретит сопротивления. Он страстно желал ее близости. Затем появилась Франсуаза, и все женщины мира перестали для него существовать… Теперь он связан с Франсуазой навсегда. Позади десять лет совместной жизни. Трое детей. Партия сыграна.

Когда в гостиной он увидел жену, сиявшую свежестью, в муслиновом платье с яркими цветами, его раздражение сразу прошло. Ведь и дом, где они живут, и сад, которым неизменно восхищались гости, – детища Франсуазы. Именно она убедила его покинуть Пон-де-л’Эр и завод за несколько лет до кризиса 1929 года. Если взвесить все по справедливости, она, пожалуй, принесла ему счастье.

– А разве Мишлина и Бако не будут обедать с нами? – осведомился он.

Он так надеялся на это, он предпочитал милую болтовню своих детей беседе с гостями.

– Нет, – ответила Франсуаза, – я решила, что нам будет уютнее вчетвером… Поправь галстук, Антуан.

«Уютно!» – опять одно из тех слов, которых он не выносил. «Нет, «уютно» не будет, – подумал он, завязывая перед зеркалом галстук. – Сабина, наверное, начнет острить, а Франсуаза – кокетничать с Ламбер-Леклерком, этим чванливым твердолобым министром». Сам же Антуан будет хранить угрюмое молчание.

– Уютно!

Он услышал, как подъехал автомобиль и затормозил, колеса заскрипели по гравию. Супруги Кене приняли непринужденные позы. Минуту спустя появились гости. У Сабины были черные волнистые волосы, полные плечи и красивые глаза. Ламбер-Леклерк сильно облысел – несколько жалких волосков лежали на голом черепе, точно барьеры на беговой дорожке. Он был, казалось, не в духе. Видно, и он тоже против воли приехал на этот обед.

– Добрый вечер, милочка! – воскликнула Франсуаза, целуя Сабину. – Добрый вечер, господин министр…

– О нет, милочка! – сказала Сабина. – Не вздумай только величать моего мужа министром… Ты же зовешь меня Сабиной, зови и его Альфредом… Добрый вечер, Антуан…

Вечер выдался на редкость теплый и ясный, и Франсуаза велела подать кофе на веранде. За столом разговор не клеился. Женщины скучали. Антуан из упрямства, злясь на себя, весьма неосмотрительно противоречил Ламбер-Леклерку, который, гораздо лучше информированный, чем его собеседник, легко побивал его в споре.

– Вы настроены оптимистически, потому что стоите у власти, – говорил Антуан. – На самом же деле положение Франции трагично…

– Да нет, дорогой мой, право же, нет: денежные затруднения никогда не бывают трагичны. Французский бюджет показывает дефицит вот уже шесть веков, и слава богу!.. Поверьте, просто необходимо время от времени разорять рантье… Иначе к чему бы мы пришли? Вообразите себе эти капиталы, помещенные в банк под большие проценты еще со времен Ришелье.

– Английский бюджет не знает дефицита, – буркнул Антуан. – Более того, доходы превышают в нем расходы. И англичане от этого не страдают, насколько мне известно.

– Дорогой друг, – отвечал Антуану Ламбер-Леклерк, – я никогда не мог уразуметь, что за страсть у французов вечно сравнивать две страны с разной историей, разными нравами и разными потребностями… Если бы Франция действительно нуждалась в сбалансированном бюджете, мы тотчас бы все устроили. Да только Франция вовсе к этому не стремится, или, если хотите, Франция не так уж сильно в этом заинтересована, чтобы согласиться также на средства, необходимые для достижения подобной цели. Характер бюджета – не финансовый вопрос, а политический. Скажите мне, на какое большинство вы намерены опираться, правя страной, и я скажу вам, как будет выглядеть ваш бюджет. Министерство финансов может подготовить любой бюджет – социалистический или радикальный, а также реакционный… Достаточно сказать, чего вы хотите!.. Все это гораздо проще, чем воображают профаны.

– Так ли уж это просто? И посмеете ли вы высказать ваши соображения избирателям?

По каким-то малозаметным признакам, по тому, как внезапно ожесточился его взгляд, Франсуаза почувствовала, что ее мужа вот-вот охватит приступ ярости. Она решила вмешаться в разговор.

– Антуан, – сказала она, – ты бы прогулялся с Сабиной к монастырю, показал ей, какой вид открывается оттуда…

– Что ж, отправимся туда все вместе, – предложил Антуан.

– Нет-нет, – возразила Сабина, – Франсуаза права… Супругов надо разлучать… Так гораздо забавнее…

Она встала из-за стола. Антуану ничего другого не оставалось, как подняться и последовать за ней. Он успел бросить Франсуазе сердитый взгляд, который та не пожелала заметить.

«Мои опасения сбываются, – подумал он. – Теперь мне придется провести добрых полчаса наедине с Сабиной… Только бы ей не вздумалось потребовать от меня объяснения, которого она ждет вот уже десять лет! Неужели Франсуазе хочется, чтобы этот самодовольный министр ухаживал за ней?»

– Какой дивный запах! – произнесла Сабина Ламбер-Леклерк.

– Это апельсиновые деревья… Навес, под которым мы сидели, тоже сплетен из ветвей апельсиновых и лимонных деревьев, глициний и роз… Но наши розы почти совсем одичали… Надо бы сделать прививку… Сюда, Сабина… Свернем на эту дорожку и спустимся вниз…

– А сами вы, Антуан, не одичали в своем уединении?

– Я? Да я всегда был дикарем… Вы что-нибудь различаете в темноте? Взгляните, по обе стороны бассейна растут цинерарии… При планировке сада в основу был положен контраст между темными, фиолетовыми или синими цветами и ярко-желтыми. Во всяком случае, такова была идея Франсуазы. А на этом склоне она задумала создать буйные заросли дрока, мастикового дерева, ракитника, царских кудрей.

– Я рада побыть с вами наедине, Антуан… Я очень люблю вашу жену, но как-никак мы с вами были когда-то большими друзьями… до вашего знакомства с ней… Вы еще помните об этом?

Осторожности ради он замедлил шаг, чтобы не оказаться слишком близко к ней.

– Ну, конечно же, Сабина, как я могу забыть?.. Нет, идите прямо вперед, сейчас будет мостик. Вот и монастырь. Что за цветы растут между плитами? Обыкновенные анютины глазки…

– Помните тот бал – мой первый бал? Вы отвезли меня домой на автомобиле вашего деда… Мои родители уже спали. Мы вошли в маленькую гостиную. Ни слова не говоря, вы привлекли меня к себе, и мы снова начали танцевать…

– Кажется, я даже поцеловал вас в тот вечер?

– Поцеловал!.. Мы целовались битый час!.. Это было чудесно… Вы стали героем моего романа…

– Наверное, я сильно разочаровал вас!

– Напротив, в начале войны вы совсем покорили меня своей доблестью. Вы держались великолепно… Я могла без запинки назвать все ваши награды. Я до сих пор помню их, могу перечислить хоть сейчас… Потом вы были ранены, а оправившись от ранения, обручились с Франсуазой Паскаль-Буше. Вот тогда, сказать по правде, я огорчилась… Да и как могло быть иначе?.. Ведь я так восхищалась вами… Услыхав, что вы женились на девушке, которую я хорошо знала по лицею Сен-Жан, – мы учились в одном классе, она была очень мила, но глуповата, простите меня, Антуан, – я удивилась и огорчилась за вас… И не я одна, весь город…

– Но отчего? Мы с Франсуазой люди одного круга и вполне подходим друг другу… Взгляните сюда, Сабина: видите вот тот утес, весь в световых бликах? Это утес Монако… Не наклоняйтесь слишком низко – терраса висит над морем… Осторожно, Сабина!

Он невольно придержал ее за талию. Она молниеносно обернулась к нему и поцеловала прямо в губы.

– Будь что будет, Антуан! Уж очень мне этого хотелось! Трудно держаться на расстоянии от человека, который когда-то был тебе близок… Помните, как мы целовались на теннисном корте? О, я вижу, вы шокированы… Вы остались настоящим Кене… Не сомневаюсь, что вы всегда были верным мужем…

– На редкость верным… Беспорочным…

– Это на протяжении десяти-то лет? Бедный Антуан!.. И вы счастливы?

– Совершенно счастлив.

– Если так, все хорошо, милый Антуан. Вот только не пойму, отчего у вас такой несчастливый вид.

– С чего вы это взяли?

– Не знаю… Просто чувствую в вас какую-то неудовлетворенность, раздражение, какую-то неприкаянность… Что бы вы там ни говорили, Антуан, все же вы были настоящим Кене из Пон-де-л’Эра, то есть человеком деятельным, привыкшим руководить людьми. А теперь вы живете здесь, оставив любимое дело и своих друзей… Я знаю: вы все принесли в жертву вкусам вашей жены… Но трудно себе представить, что вы никогда не жалеете об этом…

– Может быть, вначале я действительно немного тосковал… Но потом я нашел себе другое занятие. Всю жизнь я питал пристрастие к истории… Теперь я занялся этой наукой всерьез… Я даже написал несколько книг, и они имели некоторый успех.

– Некоторый, говорите вы? Ваши произведения имели огромный успех, Антуан, это замечательные работы… Особенно ваш труд о Людовике XI…

– Вы читали мои книги?

– Читала ли я их?! Да сотни раз! Во-первых, я тоже обожаю историю… А во-вторых, я искала в них вас, Антуан… Я по-прежнему интересуюсь всем, что имеет к вам отношение. И я считаю вас превосходным писателем… Нет, я нисколько не

преувеличиваю… Признаться, меня даже удивило, что во время обеда Франсуаза ни единым словом не обмолвилась об этой стороне вашей жизни. Два-три раза мой муж пытался заговорить с вами о ваших книгах, но всякий раз Франсуаза прерывала его… Мне кажется, ей следовало бы гордиться вашим творчеством…

– О, да чем же тут гордиться… Но это верно, что Франсуаза не интересуется книгами такого рода… Она предпочитает романы… А главное, она и сама артистическая натура – как искусно она выбирает свои наряды, какой чудесный сад она разбила! Она сама наметила место для каждого цветка. С тех пор как кризис захватил и Пон-де-л’Эр, наши доходы сократились. Теперь Франсуаза вынуждена делать все сама.

– Франсуаза делает все сама! У Франсуазы столько вкуса! Забавнее всего, что вы действительно в это верите! Слишком уж вы скромны, Антуан… Я знала Франсуазу девушкой, тогда у нее было несравненно меньше вкуса, чем сейчас. Во всяком случае, как и все семейство Паскаль-Буше, она питала неумеренное пристрастие к безделушкам и украшениям… Во всем этом была какая-то слащавая претенциозность… Это вы развили ее вкус, открыв ей красоту простых и строгих линий… А главное – вы дали ей средства, позволяющие вести эту жизнь. Ее сегодняшний наряд, безусловно, очарователен, но не забывайте, дорогой друг, что это платье от Скьяпарелли. Заказывая наряды у лучшего портного, не так уж трудно проявить вкус.

– Вы ошибаетесь, Сабина… Это платье Франсуаза сшила сама, ей помогала только служанка.

– Бросьте, Антуан, нас, женщин, не проведешь!.. Эти вытачки, безупречное изящество складок… К тому же только у Скьяпарелли можно встретить подобный рисунок ткани, характерное смешение золотистых тонов с перваншем… А впрочем, все это совсем не важно…

– Увы, это гораздо важнее, чем вы думаете, Сабина!.. Я ведь уже говорил вам, что мы сейчас крайне стеснены в средствах… Наши доходы не идут ни в какое сравнение с прежними… Пон-де-л’Эр больше ничего не дает, и Бернар пишет, что так может продолжаться несколько лет… Книги мои расходятся довольно хорошо. Иногда я пишу также статьи… И все же бедняжка Франсуаза не может позволить себе одеваться у первоклассных портных.

– Ну, если так, это просто чудо, милый Антуан! Невероятно, но чудесно!.. Мне остается лишь склониться перед Франсуазой… Впрочем, я всегда была расположена к ней… Никак в толк не возьму, отчего ее недолюбливают.

– Ее недолюбливают?

– Да ее просто ненавидят… Неужто вы не знаете?.. Меня поразило, что в Ницце ее осуждают точно так же, как в свое время в Пон-де-л’Эр…

– За что же ее осуждают?

– О, да за то же, что и прежде… За эгоизм, за кокетство с мужчинами и коварство с женщинами… За лицемерие… И конечно, за отсутствие такта… Помнится, я всегда защищала ее. Уже в те времена, когда мы вместе учились в лицее Сен-Жан, я говорила: «Франсуаза Паскаль-Буше гораздо лучше, чем она кажется… Видно, это ее наигранный тон и неприятный голос восстанавливают вас против нее…»

– Вы находите, что у нее неприятный голос?

– Ну знаете ли, Антуан!.. Хотя после десяти лет совместной жизни вы, очевидно, уже притерпелись… Впрочем, это не ее вина, и я ее не корю… Я другого не могу ей простить – что она, будучи замужем за таким человеком, как вы, в то же время…

– В то же время… что вы хотите сказать?

– Да нет, ничего…

– Вы не имеете права, Сабина, начинать фразу, полную намеков, и внезапно обрывать ее… Может быть, те, кто сообщил вам все эти сведения, утверждают также, что у Франсуазы были любовники?

– Вы серьезно спрашиваете, Антуан?

– Как нельзя серьезнее, уверяю вас…

– Вы же знаете, дорогой, что точно так же судачат о всякой хорошенькой женщине… Кто знает… Порой случается и дым без огня… Франсуаза слишком неосторожна… Подумать только, ведь еще в Пон-де-л’Эр ее обвиняли в том, что она любовница вашего брата!

– Бернара!

– Ну конечно, Бернара…

– Вот уж ерунда… Бернар – воплощенная честность.

– Поверьте, именно это я не переставая твердила всем… Франсуаза даже не подозревает, с каким упорством я всегда защищала ее… А что это за серебристая полоска, сверкающая в свете луны?

– Это повилика.

– Прелестно! Она напоминает лилии гефсиманских садов… Вы не находите?

– Нет, не нахожу… Не хотите ли вернуться?

– Уж очень вы торопитесь, Антуан… А я бы охотно осталась с вами в этом саду на всю ночь.

– Меня что-то знобит…

– Дайте мне вашу руку… Да она и в самом деле холодна как лед! Хотите, я укрою вас своей накидкой?.. А ведь мы бы могли так прожить всю жизнь, тесно прижавшись друг к другу… Вы никогда не жалели об этом, Антуан?

– Что мне ответить вам, Сабина? Ну а вы? Вы счастливы?

– Очень счастлива… Как и вы, мой бедный Антуан, силюсь подавить отчаяние… Подниматься надо по этой тропинке, да? С вами я могу быть откровенна… Долгое время я мечтала только о смерти… Теперь стало легче… Я смирилась с судьбой… Да и вы тоже…

– Как вы проницательны, Сабина…

– Не забывайте, что я когда-то любила вас, Антуан… Отсюда и моя проницательность… Дайте мне опереться на вашу руку… Очень уж крутая тропинка… Скажите мне, Антуан, когда вы наконец поняли, что за человек Франсуаза? Когда вы увидели ее в истинном свете?.. Ведь в момент женитьбы вы были просто без ума от нее…

– Боюсь, что мы с вами сейчас говорим на разных языках, Сабина… Я бы хотел, чтобы вы меня поняли… Я и сейчас чрезвычайно привязан к Франсуазе… Да что там «привязан», это смешное, жалкое слово. Просто я люблю Франсуазу… Но, как вы справедливо заметили, первые два года нашего союза были годами особенно полной и восторженной любви, которую я имел все основания считать взаимной.

– Вот как?!

– Как мне понять вас? Нет, Сабина, вы заходите слишком далеко… Вам не удастся

отнять у меня мои воспоминания… В те годы Франсуаза дала мне такие доказательства своей любви, что даже слепец не мог бы обмануться… Мы жили душа в душу… И были счастливы лишь в уединении… Не верите? Но в конце концов, Сабина, я-то знаю, что говорю: ведь именно я был с Франсуазой… А не вы.

– Но я знала ее раньше вас, мой бедный друг… Я видела вашу жену ребенком. Она и ее сестра Элен росли вместе со мной… Как сейчас вижу Франсуазу, стоящую во дворе лицея с ракеткой в руке, когда, обращаясь к нам с Элен, она объявила: «Я должна выйти замуж за старшего из сыновей Кене, и я непременно добьюсь этого».

– Не могло этого быть, Сабина! Семейство Паскаль-Буше издавна не ладило с моим, и Франсуаза не была даже знакома со мной… Мы встретились с ней совершенно случайно в 1917 году, когда я выздоравливал после ранения…

– Случайно?.. Очевидно, вы и впрямь этому поверили… А у меня до сих пор звучит в ушах голос Элен, рассказывающей о положении своей семьи. Дело в том, что еще в самом начале войны господин Паскаль-Буше разорился вконец… Он был кутила и коллекционер, и то и другое – дорогостоящие прихоти… Дочери всегда называли его «наш султан», и он, безусловно, заслужил это прозвище… Реставрация семейного замка во Флере доконала его. «Послушайте, девочки, – сказал он Франсуазе и Элен, – в наших краях есть только два семейства, с которыми стоит породниться во имя нашего спасения: семейства Тианжей и Кене». Девочки ринулись в бой и одержали двойную победу.

– Кто рассказал вам эту историю?

– Я уже говорила: сами сестры Паскаль-Буше.

– И вы не предостерегли меня?

– Не могла же я выдать подругу… К тому же я не хотела лишать ее единственного шанса. Ведь никто ни в Лувье, ни в Пон-де-л’Эр, за исключением разве наивного Дон Кихота вроде вас, не женился бы на ней… У нас в Нормандии не любят банкротов…

– Но господин Паскаль-Буше никогда не был банкротом…

– Верно, но как ему удалось этого избежать?.. Пока шла война, его поддерживало правительство, ведь другой его зять, Морис де Тианж, был в ту пору депутатом парламента… а после войны… Вы сами лучше моего знаете, что вашему деду в конце концов пришлось оказать ему помощь… Расчеты вашего тестя оправдались… Ах, опять этот божественный запах!.. Вероятно, мы приближаемся к веранде… Остановитесь на минутку, Антуан, я совсем задыхаюсь…

– Это оттого, что вы разговаривали, поднимаясь в гору.

– Положите руку мне на сердце, Антуан… Слышите, как неистово оно бьется? Вот вам, возьмите мой платок, вытрите губы… Женщины – ужасные создания, они сразу же замечают малейший след губной помады… Ну что вы делаете, разве можно вытирать рот собственным платком? На нем же останутся следы… Не будь вы примерным супругом, вы бы уже давно знали это!.. Так… а теперь почистите свое левое плечо: что, если на нем остались следы пудры?.. Отлично… Теперь мы можем выйти на свет божий.

Спустя несколько минут гости уехали. Женщины нежно простились друг с другом.

Фиалки по средам

– О, Женни, останьтесь!

За обедом Женни Сорбье была ослепительна. Она обрушила на гостей неистощимый поток всевозможных историй и анекдотов, которые рассказывала с подлинным актерским мастерством и вдохновением прирожденного писателя. Гостям Леона Лорана – очарованным, восхищенным и покоренным – время, проведенное в ее обществе, показалось одним волшебным мгновением.

– Нет, уже почти четыре часа, а ведь сегодня среда… Вы же знаете, Леон, в этот день я всегда отношу фиалки моему другу…

– Как жаль! – произнес Леон своим неподражаемым раскатистым голосом, составившим ему немалую славу на сцене. – Впрочем, ваше постоянство всем известно… Я не стану вас удерживать.

Женни расцеловалась с дамами, мужчины почтительно поцеловали ей руку, и она ушла. Как только за ней закрылась дверь, гости наперебой принялись расточать ей восторженные похвалы.

– Она и впрямь восхитительна! Сколько лет ей, Леон?

– Что-то около восьмидесяти. Когда в детстве мать водила меня на классические утренники «Комеди-Франсез», Женни, помнится, уже блистала в роли Селимены. А ведь я тоже не молод.

– Талант не знает старости, – вздохнула Клер Менетрие. – А что это за история с фиалками?

– О, да тут целый роман… Она как-то поведала мне его, однако никогда об этом не писала… Но я просто не рискую выступать в роли рассказчика после нее. Сравнение будет для меня опасным.

– Да, сравнение вообще опасно. Но ведь мы у вас в гостях, и ваш долг – развлекать нас. Вы просто обязаны заменить Женни, раз уж она нас покинула.

– Ну что ж! Я попытаюсь рассказать вам историю фиалок по средам… Боюсь только, как бы она не показалась слишком сентиментальной по нынешним временам…

– Не бойтесь, – произнес Бертран Шмит. – Наше время жаждет нежности и любви. Под напускным цинизмом оно прячет тоску по настоящим чувствам.

– Вы так думаете?.. Что ж… Если так, я постараюсь утолить эту жажду… Все вы, здесь сидящие, слишком молоды, чтобы помнить, как хороша была Женни в годы высшего расцвета своей славы. Огненно-рыжие волосы свободно падали на ее восхитительные плечи, лукавые раскосые глаза, звучный, почти резкий голос, в котором вдруг прорывалось чувственное волнение, – все это еще больше подчеркивало ее яркую и гордую красоту.

– А вы красноречивы, Леон!

– Боюсь, что мое красноречие несколько старомодно. Но все же благодарю… Женни окончила консерваторию в 1895 году с первой премией и сразу же была приглашена в «Комеди-Франсез». Увы, я по собственному опыту знаю, как тяжело приходится новичку в труппе этого знаменитого театра. На каждое амплуа имеется актер с именем, ревниво оберегающий свои роли. Самая восхитительная из субреток может лет десять дожидаться выигрышной роли в пьесах Мариво и Мольера. Чаровница Женни столкнулась с алчными, цепкими королевами сцены. Всякая другая на ее месте смирилась бы со своей участью или, промаявшись год-два, перебралась бы в один из театров бульвара Мадлен. Но не такова была наша

Женни. Она ринулась в бой, пустив в ход все, что у нее было: талант актрисы и блестящую образованность, все свое обаяние и свои восхитительные волосы.

Очень скоро она стала одной из ведущих актрис театра. Директор в ней души не чаял. Драматурги наперебой требовали, чтобы она играла созданные ими трудные роли, уверяя, что никто, кроме нее, не сумеет донести их до публики. Критики с небывалым постоянством пели ей дифирамбы. Сам грозный Сарсе, и тот писал о ней: «Один поворот ее головы, один звук ее голоса способен очаровать даже крокодила».

Мой отец, который в те годы был с ней знаком, рассказывал, что она страстно любила свое ремесло, судила о нем с умом и неустанно отыскивала новые, волнующие актерские приемы. В ту пору в театре увлекались реализмом довольно наивного толка. Если роль предписывала Женни умереть в какой-то пьесе от яда, она всякий раз перед спектаклем отправлялась в больницу – взглянуть на мучения тех, кто погибал от отравы. Борьбу человеческих чувств она изучала на самой себе. Служа искусству, она выказывала то же полное отсутствие щепетильности, которым отличался Бальзак, описавший в одном из своих романов собственные страсти и чувства любимой им женщины.

Вы, конечно, догадываетесь, что у девушки двадцати двух лет, ослепительно прекрасной и молниеносно завоевавшей громкую славу, должно было появиться множество поклонников. Приятели по театру, драматурги, банкиры – все пытались завоевать ее расположение. Она избрала банкира Анри Сталя. Не потому, что он был богат, – Женни жила вместе с родными и ни в чем не нуждалась. А потому, что он, как и она, обладал редким обаянием и, главное, предлагал ей законный брак. Вы, возможно, знаете, что брак этот состоялся не сразу – родители Сталя долго не давали своего согласия. Анри и Женни поженились лишь спустя три года, но вскоре разошлись – Женни с ее независимым характером не в силах была подчиниться семейному рабству. Но это уже другая история. А сейчас вернемся к «Комеди-Франсез», к дебюту нашей Женни и… к фиалкам.

Представьте себе артистическое фойе в тот самый вечер, когда Женни вновь появилась в «Принцессе Багдадской» Дюма-сына. Пьеса эта не лишена недостатков. И даже у меня, склонного восхищаться такими добротно сделанными пьесами, как «Полусвет», «Друг женщин», «Франсийон», капризы Дюма в «Чужестранке» и «Принцессе Багдадской» вызывают улыбку. Однако все, кто видел Женни в главной роли, писали, что она сумела создать правдоподобный образ. Мы часто говорим с ней о тех временах. Как ни странно, Женни сама верила тому, что играла. «В свои юные годы, – призналась она мне, – я рассуждала почти так же, как какая-нибудь героиня Дюма-сына, и до чего же удивительно было играть на залитой светом сцене то, что зрело во мне, в самых тайниках моей души». Добавьте еще, что эта роль позволяла ей прибегнуть к эффектному приему: она распускала свои чудесные волосы, которые падали на прекрасные обнаженные плечи. Одним словом, Женни была великолепна.

В антракте, после овации, которую устроила ей публика, она вышла в артистическое фойе. Все тотчас столпились вокруг нее. Женни опустилась на диван рядом с Анри Сталем. Она весело болтала с ним, вся во власти того радостного возбуждения, которое дает победа.

– Ах, мой милый Анри!.. Вот я снова выплыла на поверхность! Наконец-то я дышу полной грудью… Вы сами видели, как я играла три дня назад… Правда, ведь я никуда не годилась?.. Фу! Мне казалось, что я барахтаюсь на самом дне. Я задыхалась. И вот наконец – сегодняшний вечер. Сильный рывок – и опять я на поверхности! Послушайте, Анри, а что, если я провалюсь в последнем акте? Что, если у меня недостанет сил доплыть до конца? О Боже, Боже!

Вошедший капельдинер вручил ей цветы.

– От кого бы это? А, от Сен-Лу… От вашего соперника, Анри… Отнесите букет в мою уборную.

– И еще письмо, мадемуазель, – сказал капельдинер.

Распечатав послание, Женни звонко рассмеялась:

– Записка от лицеиста. Он пишет, что они создали в лицее «Клуб поклонников Женни».

– Весь «Жокей-клуб» ныне превратился в клуб ваших поклонников…

– Меня больше трогают лицеисты… А это послание к тому же заканчивается стихами… Послушайте, дорогой мой…

Скромные строки: «Я вас люблю» —Не судите и не отвергайте,И бедного автора – нежно молю —Директору не выдавайте.

– Ну, разве не прелесть?

– Вы ответите ему?

– Конечно, нет. Таких писем я получаю ежедневно не меньше десятка… Если я начну на них отвечать, я пропала… Но письма меня радуют… Эти шестнадцатилетние поклонники еще долго будут мне верны…

– Как знать… В тридцать лет они уже будут нотариусами.

– А почему бы нотариусам не быть моими поклонниками?

– Вот еще просили вам передать, мадемуазель, – сказал подошедший снова капельдинер.

И он протянул Женни букетик фиалок за два су.

– О, как это мило, поглядите, Анри! А записки нет?

– Нет, мадемуазель. Швейцар сказал мне, что фиалки принес какой-то студент Политехнической школы.

– Дорогая! – воскликнул Анри Сталь. – Позвольте вас поздравить! Право, потрясти этих «икс-игреков» не так-то просто.

Женни глубоко вдохнула запах фиалок.

– Какой дивный аромат! Только такие знаки внимания и радуют меня. Терпеть не могу солидную, довольную собой публику, ту, что является поглазеть, как я буду умирать, в полночь, точно так же как в полдень спешит в Пале-Рояль – послушать, как стреляет пушка.

– Зрители – садисты, – ответил Анри Сталь. – Они всегда такими были. Вспомните бои гладиаторов… Каким успехом пользовалась бы актриса, вздумавшая проглотить набор иголок!

Женни рассмеялась:

– А если какая-нибудь актриса вздумала бы проглотить швейную машину, слава ее достигла бы апогея!

Послышался возглас: «На сцену!» Женни встала:

– Ну что ж, до скорого… Пойду глотать иголки!..

Вот так, по рассказу Женни, и началась вся эта история.

В следующую среду во время последнего антракта улыбающийся капельдинер

снова принес Женни букетик фиалок.

– Вот как! – воскликнула она. – Неужто опять тот же студент?

– Да, мадемуазель.

– А каков он из себя?

– Не знаю, мадемуазель. Хотите, спрошу у швейцара?

– Нет, не стоит, какая разница…

В среду на следующей неделе спектакля не было, но когда в четверг Женни пришла на репетицию, букетик фиалок, на сей раз немного увядший, уже лежал в ее уборной. Покидая театр, она заглянула в каморку швейцара:

– Скажите-ка, Бернар, фиалки принес… все тот же молодой человек?

– Да, мадемуазель… В третий раз.

– А каков он из себя, этот студент?

– Он славный мальчик, очень славный… Пожалуй, немного худощав, щеки у него впалые и глаза печальные, небольшие черные усики и лорнет… Лорнет и сабля на боку – это, конечно, смешно… Право, мадемуазель, юноша, видимо, влюблен не на шутку… Всякий раз он протягивает мне свои фиалки со словами «Для мадемуазель Женни Сорбье» и заливается краской…

– Отчего он всегда приходит по средам?

– А вы разве не знаете, мадемуазель? В среду у студентов Политехнической школы нет занятий. В этот день они заполняют весь партер и галерку… Каждый приводит с собой барышню…

– И у моего есть барышня?

– Да, мадемуазель, да только это его сестра… Они так похожи друг на друга, просто диву даешься…

– Бедный мальчик! Будь у меня сердце, Бернар, я бы попросила вас хоть разочек пропустить его за кулисы, чтобы он мог сам вручить мне свои фиалки.

– Не советую, мадемуазель, никак не советую… Пока этих театральных воздыхателей почти не замечают, они не опасны. Они восхищаются актрисами издали, и это вполне их удовлетворяет… Но стоит показать им малейший знак внимания, как они сразу начнут докучать вам, и это становится ужасным… Протянешь им мизинец, они ладонь захватят… Протянешь ладонь – руку захватят. Смейтесь, смейтесь, мадемуазель, да только я-то знаю, как это бывает. Двадцать лет служу в этом театре! Уж сколько влюбленных барышень я повидал на своем веку в этой каморке… И свихнувшихся молодых людей… И стариков… Я всегда принимал цветы и записки, но никогда не пропускал никого из них наверх. Чего нельзя, того нельзя!

– Вы правы, Бернар. Что ж, будем холодны, осмотрительны и жестоки!

– Какая тут жестокость, мадемуазель, просто здравый смысл…

Прошли недели. Каждую среду Женни получала свой букетик фиалок за два су. Весь театр прослышал об этом. Как-то одна из актрис сказала Женни:

– Видела я твоего студента… Он очарователен, такая романтическая внешность… Прямо создан, чтобы играть в «Подсвечнике» или «Любовью не шутят».

– Откуда ты знаешь, что это мой студент?

– Я случайно заглянула к швейцару в ту самую минуту, когда он принес цветы и робко попросил: «Пожалуйста, передайте мадемуазель Женни Сорбье…» Это была трогательная картина. Видно, юноша умен и не хотел казаться смешным, но все же он не мог скрыть волнения… Я даже на минуту пожалела, что он не мне носит фиалки, – уж я отблагодарила бы его и утешила… Заметь, он ничего не просил, даже не добивался разрешения увидеть тебя… Но будь я на твоем месте…

– Ты бы приняла его?

– Конечно, и уделила бы ему несколько минут. Ведь он так давно ходит сюда. К тому же и каникулы подоспели. Ты уедешь, так что нечего опасаться, что он начнет тебе досаждать…

– Ты права, – сказала Женни. – Сущее безумие пренебрегать поклонниками, когда они молоды и им нет числа, а потом гоняться за ними спустя тридцать лет, когда их останется совсем немного и все они обзаведутся лысиной…

Выходя в этот вечер из театра, она сказала швейцару:

– Бернар, в среду, когда студент опять принесет фиалки, скажите ему, чтобы он сам вручил их мне после третьего акта… Я играю в «Мизантропе». По роли я переодеваюсь всего один раз. Я поднимусь в свою уборную и там приму его… Нет, лучше я подожду его в коридоре, у лестницы или, может быть, в фойе.

– Хорошо. Вы не боитесь, мадемуазель, что…

– Чего мне бояться? Через десять дней я уеду на гастроли, а этот мальчик прикован к своей Политехнической школе.

– Хорошо, мадемуазель… А все же, на мой взгляд…

В следующую среду Женни играла Селимену с особым блеском, вся во власти горячего желания понравиться незнакомцу. Когда наступил антракт, она ощутила острое любопытство, почти тревогу. Она устроилась в фойе и стала ждать. Вокруг нее сновали завсегдатаи театра. Директор о чем-то беседовал с Бланш Пьерсон, слывшей в те времена соперницей Женни. Но нигде не было видно черного мундира. Охваченная нетерпением, взволнованная Женни отправилась искать капельдинера.

– Никто меня не спрашивал?

– Нет, мадемуазель.

– Сегодня среда, а фиалок моих нет как нет. Может быть, Бернар забыл передать их… Или тут какое-нибудь недоразумение?

– Недоразумение, мадемуазель? Какое недоразумение? Если угодно, я схожу к швейцару…

– Да, пожалуйста… Впрочем, нет, не стоит. Я сама расспрошу Бернара, когда пойду домой.

Она посмеялась над собой. «Странные мы создания, – подумала она, – в течение шести месяцев я едва замечала робкую преданность этого юноши. И вдруг сейчас только потому, что мне недостает этих знаков внимания, которыми я всегда пренебрегала, я волнуюсь, словно жду любовника… Ах, Селимена, как сильно пожалеешь ты об Альцесте, когда он покинет тебя, охваченный нестерпимым горем!»

После спектакля она заглянула к швейцару:

– Ну как, Бернар, где мой поклонник? Вы не прислали его ко мне?

– Мадемуазель, как назло, сегодня он не приходил… В первый раз за полгода он не

явился в театр – именно в тот самый день, когда мадемуазель согласилась его принять.

– Странно. Может быть, кто-нибудь предупредил его и он испугался?

– Нет, мадемуазель, что вы… Никто и не знал об этом, кроме вас и меня… Вы никому не сказали? Нет? Ну и я тоже молчал… Я даже жене ничего не говорил…

– Так как же вы все это объясните?

– А никак не объясню, мадемуазель… Может быть, случайно так совпало. А может быть, ему наскучило все это… Может быть, он захворал… Поглядим в следующую среду…

Но и в следующую среду опять не было ни студента, ни фиалок.

– Что же теперь делать, Бернар?.. Как вы думаете, может быть, приятели его помогут нам разыскать юношу? А может быть, обратиться к директору Политехнической школы?

– Но как мы это сделаем, мадемуазель? Мы ведь даже не знаем его имени.

– И то правда, Бернар. Как все это грустно! Не везет мне, Бернар.

– Полно, мадемуазель. Вы с таким блеском провели этот сезон. Скоро вы уедете на гастроли, где вас ждут новые успехи… Разве не грех говорить, будто вам не везет!

– Вы правы, Бернар! Я просто неблагодарное существо… Да только уж очень я привыкла к своим фиалкам.

На следующий день Женни покинула Париж. Анри Сталь сопровождал ее в этой поездке. В какой бы гостинице ни остановилась Женни, ее комната всегда утопала в розах. Когда она возвратилась в Париж, она уже позабыла о романтическом студенте.

Спустя год она получила письмо от некоего полковника Женеврьер, который просил принять его по личному делу. Письмо было написано очень корректно, с большим достоинством, и не было никакой причины отказывать в свидании. Женни предложила полковнику навестить ее в один из субботних вечеров. Он пришел, одетый в черное штатское платье. Женни встретила его с той очаровательной непосредственностью, которой ее наделила природа и научила сцена. Но во всем ее поведении, естественно, проскальзывал немой вопрос: что нужно от нее этому незнакомцу? Она терпеливо ждала объяснений.

– Благодарю вас, мадемуазель, за то, что вы согласились принять меня. Я не мог объяснить в письме цель своего визита. И если я позволил себе просить вас о свидании, то, поверьте, не мужская дерзость тому причиной, а родительские чувства… Вы видите, я одет во все черное. Я ношу траур по сыну, лейтенанту Андре де Женеврьер, убитому на Мадагаскаре два месяца назад.

Женни сделала невольное движение, словно желая сказать: «Сочувствую вам от всего сердца, но только…»

– Вы не знали моего сына, мадемуазель, мне это известно… Но зато он знал вас и восхищался вами. Вам покажется это невероятным, а между тем все, что я расскажу вам сейчас, – чистейшая правда. Он любил и боготворил вас больше всех на свете…

– Кажется, я начинаю понимать, полковник. Он сам поведал вам об этом?..

– Мне? Нет. Он рассказал обо всем сестре, которая была поверенной его тайны. Все началось в тот день, когда он пошел вместе с ней смотреть «Игру любви и случая». Возвратившись домой из театра, дети мои с восхищением отзывались о вас: «Сколько тонкости и чистоты в ее игре, сколько волнующей поэзии!..» Они

говорили еще много такого, что наверняка было справедливо, я в этом не сомневаюсь… И все же страстность, присущая молодости, ее готовность идеализировать… Мой бедный мальчик был мечтателем, романтиком.

– Боже мой! – воскликнула Женни. – Так, значит, это он…

– Да, мадемуазель, тот самый студент Политехнической школы, который из месяца в месяц каждую среду приносил вам букетик фиалок, был мой сын – Андре… Это я тоже узнал от своей дочери. Надеюсь, подобное ребячество, наивный знак восхищения не рассердил вас?.. Он ведь так сильно любил вас или, быть может, тот созданный его воображением образ, который он носил в своем сердце… Стены его комнаты были увешаны вашими портретами… Сколько усилий стоило его сестре раздобыть у ваших фотографов какой-нибудь новый портрет!.. В Политехнической школе приятели посмеивались над его страстью. «Напиши ей обо всем!» – говорили они.

– Жаль, что он этого не сделал…

– Сделал, мадемуазель! Я принес вам целую пачку писем, которые так и не были отправлены. Мы нашли их после его смерти.

Достав из кармана пакет, полковник вручил его Женни. Однажды она показала мне эти письма – почерк тонкий, стремительный, неразборчивый. Почерк математика, зато стиль поэта.

– Сохраните эти письма, мадемуазель. Они принадлежат вам. И простите меня за необычный визит… Мне казалось, что я обязан сделать это в память о сыне… В чувстве, которое вы ему внушали, не было ничего непочтительного, легкомысленного… Он считал вас олицетворением красоты и совершенства… Уверяю вас, Андре был достоин своей великой любви.

– Но отчего же он не пытался увидеть меня? Отчего я сама не постаралась встретиться с ним?.. Ах, как я ненавижу себя за это, как ненавижу…

– Не корите себя, мадемуазель… Вы же не могли знать… Тотчас после окончания Политехнической школы Андре попросил направить его на Мадагаскар… Не скрою, причиной этого решения были вы… Да, он говорил сестре: «Одно из двух: или разлука излечит меня от этой безнадежной страсти, или же я совершу какой-нибудь подвиг и тогда…»

– Разве скромность, постоянство и благородство не лучше всякого подвига? – со вздохом произнесла Женни.

Заметив, что полковник собирается уходить, она порывисто схватила его за руки.

– Кажется, я не совершила ничего дурного, – сказала она, – и все же… И все же сдается мне, что и у меня есть долг по отношению к покойному, не успевшему вкусить радости жизни… Послушайте, полковник, скажите мне, где похоронен ваш сын… Клянусь вам: пока я жива, я каждую среду буду приносить букетик фиалок на его могилу.

– Вот почему, – закончил свой рассказ Леон Лоран, – вот почему наша Женни, которую многие считают женщиной скептической, сухой, даже циничной, неизменно каждую среду покидает друзей, работу и порой любимого человека и идет одна на кладбище Монпарнас, к могиле незнакомого ей лейтенанта… Ну вот, теперь вы и сами видите, что я был прав, – история эта слишком сентиментальна для нынешних времен.

Наступило молчание. Затем Бертран Шмит сказал:

– На свете всегда будет существовать романтика для того, кто ее достоин.

Примечания

1

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2013.

2

Дворецкий *(англ.).*

3

Чепуха *(англ.)*.

4

Муж *(ит.).*

5

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2013.

© Перевод. С. Тарханова, наследники, 2013.

7

В этом заключено нечто большее… *(англ.)*

8

Нет, нет, это непростительно!.. *(англ.)*

9

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2013.

10

© Перевод. С. Тарханова, наследники, 2013.

11

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2013.

12

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2013.

13

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2013.

14

© Перевод. С. Тарханова, наследники, 2013.

15

© Перевод. С. Тарханова, наследники, 2013.

16

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2013.

17

© Перевод. С. Тарханова, наследники, 2013.

18

© Перевод. С. Тарханова, наследники, 2013.